Л. В. Арнольдов

Жизнь и Революція



Л. В. Арнольдов

Жизнь и Революція

ГРОЗА ПЯТАГО ГОДА
БѢЛЫЙ ОМСК

Книгоиздательство
А. П. Малык и В. П. Камкина
Шанхай
1935 г.

Того же автора:

«Китай, как он есть»: Гоминдан — Коммунизм — Война. Стр. 370. Шанхай. 1933.

«Из страны Бѣлаго Солнца» — Этюды о Китаѣ. Стр. 438. Шанхай. 1934.

Складъ изданія:

774, Avenue Joffre, "Shanghai Zaria"
16, Route Paul Henry, Shanghai, China.

ОГЛАВЛЕНІЕ

Да, и такой, моя Россія,
Ты всѣх краев дороже мнѣ!

Эту книгу, в которой не мало страниц посвящено личным воспоминаніям, я не хотѣл бы все таки причислять к мемуарной литературѣ.

В своеобразной формѣ воспоминаній, преломляя факты личной жизни через призму крупнѣйших событій эпохи, мнѣ хотѣлось показать, в болѣе или менѣе художественной формѣ, как герой повѣствованія, в данном случаѣ—автор, один из милліонов русских, воспринимал событія историческаго масштаба, участвовал в них и их расцѣнивал.

Характер повѣствованія давал мнѣ право цитировать и других авторов, когда их мысли или оказывали вліяніе на мои мысли, или совпадали с ними или, по моему убѣжденію, были выражены ярче, глубже, убѣдительнѣе, чѣм это мог бы сдѣлать я сам.

Настоящим признаніем я вовсе не хочу обезоруживать г. г. критиков: мнѣ просто хочется объяснить, в чем я вижу своеобразіе формы настоящаго повѣствованія.

Принимая заранѣе с благодарностью указанія, которые могут быть сдѣланы читателями, и сам сознавая недостатки своего труда, одного упрека я казалось бы не заслуживаю—упрека в неискренно-

Я хотѣл быть честен в своих мыслях о Россіи, честен и искренен до конца. Во что я вѣровал и вѣрую, то и исповѣдую.

В заключеніе мнѣ бы хотѣлось поблагодарить мою Мать, с которой читались корректуры, как этой книги, так и двух предыдущих.

15 іюля 1935 г.
Шанхай.

ВМѢСТО ПРЕДИСЛОВІЯ

О КОЛЛЕКЦІОНИРОВАНІИ И МЕМУАРИСТАХ.

Коллекціонеры, за рѣдкими исключеніями, всегда интересные люди: содержательные, чуткіе, полные самых удивительных знаній, иногда фанатики. Мнѣ, во всяком случаѣ, всегда пріятно бывать в их обществѣ.

Конечно, не всѣх коллекціонеров я понимаю. Я довольно равнодушен к нумизматам и филателистам, хотя никогда не позволил бы себѣ подшучивать над их страстью. Просто, я ей не «созвучен». Смотрю на старинную монету равнодушно и еще равнодушнѣе смотрю на рѣдкую марку, но сами нумизматы и филателисты уже только потому, что они нумизматы или филателисты, то-есть коллекціонеры, мнѣ симпатичны.

Читая В. В. Розанова, напримѣр, его «Уединенное», «Опавшіе листья», я неизмѣнно останавливал взгляд на ремаркѣ, под тѣм или иным размышленіем, наблюденіем, афоризмом:

— «За нумизматикой».

И мнѣ было пріятно знать, что наш покойный Государь был коллекціонером рѣдких марок, так же как и его двоюродный брат, англійскій король Георг V, и оставил послѣ себя альбомы, которым, как утверждают филателисты, «цѣны не было». И я всегда иду на встрѣчу юным филателистам и филателисткам (послѣдних меньше), когда они

меня просят сберегать для них рѣдкія марки.

Также не стал бы я сам увлекаться собираніем тростей и набалдашников; к ним и к коллекціонированію старинных часов, табакерок, оружія — я «несозвучен». Но, вот, коллекціонированіе трубок мнѣ уже по душѣ. Коллекція стариннаго фарфора, что может быть восхитительнѣе? Или хрусталя? Но для этого надо непремѣнно имѣть хоромы, много денег, надо путешествовать.

Точно также, казалось-бы, надо быть человѣком с большими средствами для того, чтобы собирать картины. «Картинная галлерея»! Чтобы она не выглядѣла убого, нужен, по крайней мѣрѣ, большой барскій дом. Впрочем, и без «галлереи», можно в любой квартирѣ собрать то количество картин, которое средства и условія жизни позволяют. Только надо умѣть собирать.

Коллекціонер художественных вещей, прежде всего, должен быть человѣком художественнаго вкуса. Затѣм, он должен быть человѣком с характером, должен умѣть себѣ в своих желаніях отказывать, крѣпко держать себя в руках, чтобы не дать развиться в себѣ чувству, часто очень стойкому и страстному, качество подмѣнять количеством. Затѣм, лучше всего коллекціонерам как-то спеціализироваться в своей страсти. Если человѣк с ограниченными средствами, пристрастился к собиранію картин, спасительнѣе сразу же начать не просто собирать картины, а собирать какой-либо один из циклов. Например, под нашими широтами: — «Китай в отраженіи иностраннаго художника». Ограниченія могут быть или в смыслѣ техники исполненія собираемых

картин — только «масло», напримѣр. Или еще по національности. Собираю только тѣ картины, маслом, отражающія Китай, которыя созданы русскими художниками.

Также может быть и с книгами. «Русскій роман за рубежом». Или только книги по китаевѣденію. Только по китаевѣдѣнію на русском языкѣ. И то расходов не оберетесь.

Впрочем, можно себя так уж и не ограничивать. И, затѣм, не всѣ коллекціонеры люди с ограниченными средствами. Три четверти из них, наоборот, люди прежде всего со средствами. Для любой коллекціи нужно мѣсто, гдѣ ея держать. Кто живет в одной, в двух комнатах, тому поневолѣ приходится коллекціонировать что либо исключительно миніатюрное.

Хотя можно обладать всѣми особенностями психики коллекціонера, имѣть вкус, нюх, талант к собиранію вещей, распространять, создавать вокруг себя интеллектуальную среду человѣка, живущаго в старинных, художественных, рѣдкостных вещах, если даже в вашем обладаніи есть всего на всего нѣсколько драгоцѣнных вещей. Их можно так же трепетно и проникновенно беречь, за ними внимательно ходить, их холить, ласкать глазами и пальцами трепетных рук, как и при наличіи несмѣтных сокровищ, собранных во дворцовых залах.

Небольшія, но умѣло собранныя коллекціи мнѣ всегда милѣе частных коллекцій Генри Форда или газетнаго магната Херста, которые могут позволить себѣ все, что им при коллекціонированіи угодно, даже роскошь перевозить через океан цѣлые замки или зданія историческаго значенія: камешек по

камешку, каждый кирпич под особым номером и в тщательной упаковкѣ.

От дней моей ранней юности унес я с собою в жизнь свѣжее воспоминаніе о провинціальном учителѣ словесности, у котораго в комнатѣ был отведен под книги всего один шкафик, но в нем были: «Кипарисовый ларец» Иннокентія Анненскаго, «Лицейскія рукописи Пушкина», в изданіи князя Олега Константиновича, номера журнала «Золотое Руно», затѣя купца — эстета Рябушинскаго, «Аполлон» за нѣсколько лѣт, философскій журнал «Софія», двѣ книги П. Муратова, среди других, книжка Розанова: «Когда начальство ушло» в бордовой обложкѣ с наивным рисуночком и нѣсколько простых и внѣшне казенных книг в сѣроватых корках Владиміра Соловьева. Да, еще была книга, большая, толстая, важная, сочиненіе отца Флоренсова: «Столп и утвержденіе истины». Мнѣ пріятно было брать эту книгу в руки, хотя я и знал, что никогда в жизни читать ее не буду. В философическую теологію мнѣ пути были заказаны.

Еще один примѣр «коллекціонера в душѣ», который «все свое носил с собою»... Это был доцент Л. А. Зандер, молодой начинающій «гэлэртер», путешественник, любившій описывать свои странствованія, человѣк гулявшій по Шанхаю, за короткое свое пребываніе, в лѣтнем китайском шелковом одѣяніи, дѣятель христіанскаго студенческаго движенія, большой поклонник Гете, «Фауста» котораго он неизмѣнно носил при себѣ, хорошенькій томик в сафьяновом переплетѣ и, в свободную минуту, отдыхал над ним, читая и перечитывая

любимыя строфы знаменитаго произведенія.

Я, говоря о коллекціонерах, не могу не вспомнить случая, когда мнѣ довелось притти к врачу с мучившей меня и угнетавшей болѣзнью и когда он, за отсутствіем мѣста в своей пріемной, любезно предложил мнѣ пройти в его личные аппартаменты и там подождать своей очереди. Ждать пришлось около часа. Но я не пожалѣл, что так далека оказалась моя очередь и поймал себя на смѣшной мысли, что, не приключись со мною непріятная и раздражающая болѣзнь, я не имѣл бы случая ознакомиться с интересной коллекціей, которую этот врач собрал в своем домѣ— вся обстановка пяти комнат: только китайскія вещи и, среди них, нѣсколько рѣдкостных китайских вещей и много картин художников еврепейцев с отраженіями Китая. Я переходил от картины к картинѣ, от шкафа к шкафу, я не сѣтовал на ожиданіе, забыл о своей болѣзни. Увлекает и волнует не только коллекціонированіе, но даже ознакомленіе с хорошими коллекціями.

Но коллекціонировать, по моему убѣжденію и опыту, можно не только драгоцѣнныя или художественныя вещи, картины, фарфор, книги, коллекціонировать можно не только рукописи, историческіе документы, можно коллекціонировать в памяти и на бумагѣ, в воспоминаніях, факты жизни, образы исторіи, былыя впечатлѣнія, наиболѣе яркіе моменты нашего существованія, которые живут только в нашем воображеніи, до тѣх пор, пока мы не повѣдали их бумагѣ, для сохраненія в памяти других людей.

Для тѣх, кто любит людей, всѣх вообще или

извѣстную их разновидность, кто ими интересуется, их изучает, для тѣх жизнь, особенно бурные ея періоды, представляют неисчерпаемый кладезь всяческих творческих вдохновеній.

Я наблюдал, помню, картину боя, смотрѣл, как шли в наступленіе части, шли на пулеметы противника, и думал, что вѣдь каждый в этих цѣпях представляет собою цѣлый сложный мір мыслей, чувств, переживаній, каждый чудо творческаго искусства Природы, сын Божій, как прекрасно и проникновенно учит нас думать Священное Писаніе.

Так что коллекціонированіе, в описаніях, интересных людей и событій — это тоже увлекательное занятіе. Недаром великіе поэты, великіе писатели, истолкователи душ людских и фактов жизни, называются на чудесном русском языкѣ нашем: властителями дум.

***

Если мы употребим термин «мемуары» в широком смыслѣ, включим в него не только нарочитыя воспоминанія, но и письма, записи современников о наиболѣе поражавших их воображеніе людях и событіях, добавим сюда же дневники и прочіе «документы эпохи», то трудно представить себѣ какой либо період писанной исторіи человѣчества, от котораго не сохранилось бы «мемуаров» в этом расширенном смыслѣ слова.

И Тацит, и Плутарх, и Тит Ливій и тѣ, буквально сотни, китайских лѣтописцев, которые от древности прилежно составляли хроники событій исторіи Китая, вплоть до великаго римскаго

полководца, замѣчательнаго писателя и оригинальнаго человѣка, каким был Гай Юлій Цезарь с его «Комментаріями к Гальским войнам», всѣ могут быть подведены под рубрику мемуаристов.

А средніе вѣка, в особенности в Европѣ, быстро расцвѣтавшей на путях письменности: не только сочинители жизнеописаній, но и государственные дѣятели, и философы, поэты и ученые, всѣ, в той или иной степени, обогащали мемуарную литературу: Марко Поло и Леонардо да-Винчи, Монтень и Бэкон Веруламскій, Маккіавелли и Гоббз, Спиноза и Ньютон, Сервантес и Данте, Ян Гус и Джіордано Бруно, Лютер и Эразм Роттердамскій, Лейбниц, а потом Дидро, Жан-Жак Руссо, прославленный фарнейскій мудрец Вольтер, Мирабо, Гете, вплоть до безчисленных писателей близкаго нам девятнадцатаго столѣтія, всѣ в той или иной формѣ, отдавали дань мемуарному творчеству. Если нѣкоторые из них сознательно и упрямо объективировали свои мысли и разсужденія, ученики их и современники, в своих воспоминаніях о них, и в своих письмах неизбѣжно субъективировали тѣх, кто выдѣлялся над другими, спускали небожителей на землю, помогали их нам потом «коллекціонировать», под пером таких писателей, как Ипполит Тэн, Карляйль, у нас Д. С. Мережковскій, а, за самое послѣднее время, быстро вошедшіе в моду: у англичан Литтон Страки, у французов Андрэ Моруа, у нѣмцев Эмиль Людвиг и Стефан Цвейг, у нас — неподражаемый М. А. Алданов.

Девятнадцатый вѣк был особенно богат мемуарами! Книг написаны были цѣлыя горы. Быстрое

развитіе и удешевленіе во всѣх смыслах типографскаго дѣла, расширеніе круга читателей, умѣніе и желаніе хранить документы прошлаго, созданіе огромнѣйших библіотек и частных книгохранилищ, не говоря уже о музеях и их должной охранѣ силами государства, все это сдѣлало мемуарную литературу одним из культурных двигателей человѣчества.

Наша эпоха, вплоть до переживаемых нами тридцатых годов двадцатаго вѣка, удѣляет мемуарам уже такое мѣсто, какого не могла бы удѣлять никакая из предшествовавших эпох.

Мемуары дѣйствительно занимают центральное мѣсто в сознаніи просвѣщенных людей. Не только печатаются тысячами мемуары, но тщательно сохраняются, в спеціальных зданіях, комплекты всѣх повременных изданій — газет и журналов, подбираются документы эпохи, сразу и даже во время событій; тут же они обрабатываются и, по возможности скорѣе, издаются.

Создается такое впечатлѣніе, что люди борятся за свой успѣх, достигают высших ступеней соціальной лѣстницы, дѣлаются министрами, князьями церкви, писателями, полководцами, учеными, актерами, художниками — словно только для того, чтобы, в эпоху наиболѣе активнаго періода своей жизни, самим подбирать свои письма или сохранять их копіи, писать дневники, хранить фотографіи, а теперь и говорящія о себѣ фильмы, сберегать разнообразнѣйшіе документы, вплоть до приглашеній на торжества и пріемы, а потом, как только время и средства позволяют, засѣсть писать мемуары, издавая к ним еще и послѣсловія,

библіографію и сборник появившихся в печати рецензій.

Еще грохотала война, люди десятками тысяч шли умирать каждый за свое отечество, подготавливались или уже свирѣпствовали, бушевали, обильно сдабриваемыя человѣческой теплой кровью, революціи, а документы все подбирались и подбирались, мемуары все писались и писались.

Наиболѣе характерно для нас эта связь прошлаго с настоящим, отмѣчена в исторіи русской революціи. Как ни была она разрушительна и мятежно суматошна, она, все-таки, оставила такое количество и документов, и личных воспоминаній, и объемистых книг, спеціальных трудов, что вряд-ли в будущем историки будут сѣтовать на нас за то, что мы не заботились об облегченіи их работы по обслѣдованію нашей эпохи. Лѣвая власть состязалась с властями правой окраски в том, чтобы, тотчас же по своем утвержденіи, дѣлать по возможности все, что требуется для того, чтобы сохранять документы.

Свершилось 17 іюля 1918 вода страшное цареубійство в Екатеринбургѣ и, вот, уже через нѣсколько недѣль послѣ этого проступленія и слѣдователь по важнѣйшим дѣлам Н. А. Соколов и спеціально назначенный Омским правительством ген. М. К. Дитерихс, сохраняют для потомства все, что они были в силах найти в Ипатьевском Домѣ и около него, в Екатеринбургѣ и по сосѣдним городам.

Как не бѣдны мы матеріальными средствами, как не разсѣяны мы по всему свѣту, как не раздроблены, но давно уже для наших эмигрант-

ских документов учреждены особыя книгохранилища и центро-архивы по исторіи русской революціи и в Вашингтонѣ, и в Прагѣ, и в Бѣлградѣ, и в Брюсселѣ.

Но нам, эмигрантам, конечно, невозможно все-таки состязаться с той грандіозной работой по сбору и сортировкѣ исторических матеріалов, какая ведется во всѣх европейских государствах и в Америкѣ.

Совсѣм особую форму принимают и нѣкоторые мемуары отдѣльных выдающихся личностей современности. Только недавно мы писали, в связи со смертью Раймонда Пуанкарэ, что несмотря на то, что он почти до самой смерти вынужден был активно участвовать в политикѣ, он успѣл написать нѣсколько объемистых томов своих воспоминаній, которые так полно и тщательно документированы, что выходят за предѣлы рядовых мемуаров, превращаясь в грандіозную панораму цѣлой сложной, пестрой и, если угодно, великой эпохи. Столь же обильны фактами и документами воспоминанія Винстона Черчилля, послѣдній том которых, «Афтэрмасс», может быть назван сам по себѣ самостоятельным и, при том, выдающимся художественно-историческим произведеніем.

У нас, в эмиграціи, на русском языкѣ, исторію подарил замѣчательными воспоминаніями ген. А. И. Деникин, писали мемуары С. Д. Сазонов, П. Н. Милюков, Г. К. Гинс, ген. А. С. Лукомскій, А. П. Извольскій и, в началѣ 1934 г., вышли два объемистых тома воспоминаній графа В. Н. Коковцева. Не представляется впрочем никакой возможности полностью перечислить всѣ тѣ мемуары,

которые за послѣдніе годы были посвящены исторіи русской революціи.

И, что же? Развѣ от этого обилія воспоминаній и книг мемуарнаго характера изсякает к ним читательскій интерес? Отнюдь нѣт! Статистика всѣх библіотек міра, в частности и особенности статистика всѣх эмигрантских библіотек, неопровержимо свидѣтельствует, что читатель жадно знакомится с тѣми воспоминаніями, которыя его непосредственно интересуют. Мемуарная литература имѣет спрос наряду с беллетристикой. Нѣкоторые мемуары вызывают міровую сенсацію. С мемуаристами, за читательское вниманіе, соревнуют романисты, вродѣ М. А. Алданова, пишущіе на историческіе сюжеты.

Вот почему и мы рѣшили подарить читателя этой книгой, которая, под углом нашего зрѣнія, должна отразить бурную эпоху, через которую прошла Россія в первой четверти двадцатаго вѣка.

О СЕМЬѢ И ШКОЛѢ.

В 1898 г., за семь лѣт до первой революціи и за девятнадцать лѣт до второй, В. В. Розанов писал:

«Никто не обращал вниманія, но это факт любопытный, что политическая струйка, которая всегда так билась и бьется среди учеников средней школы, не находит в ней совершенно почвы для себя, раз она руководится частным лицом.

«Статистическія разысканія, гдѣ слѣдует и кому слѣдует, могли бы открыть глаза на эту печальную для государства истину, я же приведу здѣсь ея объясненіе. Насколько мнѣ пришлось

испытать и наблюдать (а мои наблюденія были очень близки и довольно обширны) біеніе струйки этой всегда восходит, как к своему первому источнику, к чисто ученическому раздраженію, против преподавателей или какого-нибудь из них.

«При отсутствіи индивидуализма отношеній между учениками и учителем, личность ученика, при соблюденіи всѣх должных форм, если и не оскорбляется, то как-то отвергается преподавателем, и притом в лучших чертах своих, — что послѣ горечи порождает раздраженіе. Это раздраженіе, обобщаясь и обезличаясь, переходит с человѣка на учрежденіе, и, передвигаясь от послѣдняго по сцѣпам бюрократическаго механизма, доходит до источника всѣх их — государства.

«В 13-14 лѣт ученик раздражен двумя-тремя учителями, в 15-16 раздражен заведеніем, котораго один орган так дразнит, так мучает его ум и сердце.

«В частном учебном заведеніи, за отсутствіем всѣх этих соединяющих звеньев, за его изолированностью от государства, всякое раздраженіе не может проступать за его стѣны, не обращается ни на что далѣе лежащее. Даже болѣе, в случаѣ чрезвычайных причин для такого раздраженія (т. е. если учебное заведеніе очень дурно), невольно пробуждается мысль, что «все шло бы лучше, если бы было в руках государства, если бы послѣднее обуздывало частный произвол», т. е. возникает смутная безотчетняя к нему привязанность, надежда на него. Но мы взяли прямо злоупотребленіе; при нормальном же положеніи, частное учебное заведеніе неизмѣримо оживленнѣе внутри (индивидуализм отношеній), нежели казен-

ное заведеніе, всегда почти мертвенное внутри; и вся энергія индивидуальных сил, не сдавленная общностью форм, уходит на эту жизнь. Здѣсь государство не упоминается, об нем не думается; просто всѣ обращены к ближайшим предметам своих занятій, игр, забав, — т. е. именно тѣм и так, чѣм и как никогда невозможно принудить заниматься учеников в казенных учебных заведеніях.

«Таким образом, в отношеніи политическом тѣ и другія можно сравнить с отношеніем к какому нибудь эпидемическому заболѣванію двух мѣстностей, из которых одна обставлена бдительными докторами, но почва ея в высшей степени пропитана дурными міазмами, вода отравлена, питаніе не свѣжее; и доктора, не помогая ни в чем, только научно констатируют смертность. Другая же мѣстность, правда, лишена докторов, не имѣет медикаментов, но, будучи совершенно здорова по условіям, и не нуждается в них.

«Хочешь ли сберечь юношество для государства, береги его дальше от государства — это правило, конечно, не административной техники, но политической мудрости».

Увы, никто не вчитался, из тѣх кому слѣдовало, в эти мудрыя слова. Никто не внял совѣтам Розанова, тогда как Розанова надо было пригласить совѣтником при министерствѣ просвѣщенія, прося его посѣщать русскія школы, давать общія указанія тѣм, кто сочиняли школьные положенія и «циркуляры». И, главное, эти осѣняющія, руководящія мысли высказывались походя, играючи, Розанов был преисполнен ими. То, что я цитировал, это только... сноска.

И, далѣе, читаем у Розанова, опять в добавочной сноскѣ, от той же поры:

«Будучи еще студентом, мнѣ приходилось часто бывать в одном рѣдко благовоспитанном семействѣ; вставая из за вечерняго чая, хозяйка дома замѣтила мнѣ однажды:

— «Вот и опять я останусь одна».

«На мое недоумѣніе, она сказала:

— «Я только и имѣю радость видѣть мужа и дѣтей (студент и два гимназиста) во время обѣда и чая, все остальное время дня я провожу одна»...

«С тѣх пор я стал наблюдать за этой стороной нашей жизни: дѣйствительно, только малолѣтніе, до 8-ми лѣтняго возраста, составляют теперь дѣятельных и чувствуемых членов семьи, они подрастают — и родители остаются совершенно одни.

«Думается, что отвратительное развитіе клубной жизни, желаніе старших куда-нибудь ѣхать, с кѣм-нибудь сѣсть за карты и пр., не без связи с этим видоизмѣненіем в характерѣ семьи, какое произведено государственным обученіем.

«Семья, дѣти которой вдали от нея, апатично отвѣчают внѣшними лишь формами своей души на внѣшнія-же и общія требованія им чуждых людей, становится безжизненна, пуста. Она как то глохнет в своей поэзіи, как глохнет в индивидуализмѣ своем свѣжій мір, ею порожденный.

«Дѣти облагораживают семью; без них, давая им лишь помѣщеніе и стол, в старших членах своих она невольно, неудержимо обращается к грубым внѣшним удовольствіям; она перестает быть семьей в истинном, христіанском значеніи и стано-

вится лишь дружеским сожительством.

«Всѣ обращены в ней к предмету своих особых забот, ушли в свой отдѣльный мір, и друг на друга лишь временно оглядываются, когда имѣют в этом нужду. Быть может, заботы эти и поучительны; онѣ, во всяком случаѣ, полезны, и что касается до дѣтей, ежечасно обогащают их свѣдѣніями; но кто-же оцѣнил, кто отвергнул, найдя их меньшими, тѣ непередаваемыя, часто безмолвныя и неизгладимыя впечатлѣнія, которыя проходят здѣсь между матерью и сыном, сестрой и братом, — кто, вынеся как сор эти впечатлѣнія за дверь, сказал, что больше их значит хронологія Пелопонезской войны»?.. («Сумерик просвѣщенія» стр. 40-1. Изд. П. Перцева. С.-Петербург. 1899).

Как бы хотѣлось, чтобы эти золотыя слова нашего замѣчательнаго мыслителя, все еще ждущаго своего полнаго признанія русскими, сохранились бы навсегда в русском сознаніи, потому что без семьи, без школы не может быть возсоздано великим національное государство.

Впрочем, опредѣленіе — «національное государство», — не тавтологія-ли? Раздѣ может долго существовать независимым не — національное государство? Даже коммунисты в Россіи вынуждены были заговорить о родинѣ.

О БЫЛОЙ БЛАГОПОЛУЧНОЙ СИБИРИ.

До великаго историческаго обвала Сибирь не столько считалась, сколько называлась, в досужих разговорах, «штрафной колоніей». К началу двадцатаго столѣтія Сибирь, в своем прогрессѣ, дѣлала большіе шаги вперед.

Я закрываю глаза и перед моим мысленным взором, одна за другой, проносятся картины той Сибири, в которой я провел дѣтство и юность, и по которой путешествовал на протяженіи пятнадцати лѣт, с 1900 года по начало европейской войны, всѣми способами и по многим трактам.

Омск 1904 года. Переполненный, ключем кипящій, Люблинскій проспект; по случаю войны с Японіей всюду встрѣчаются офицеры, юнкера, кадеты, крохотные воспитанники Казачьяго подготовительнаго пансіона, с красными погонами и золотыми путовицами на черных мундирах.

Ѣдут в пролетках важные генералы, солдаты им становятся во фронт. В кондитерских вкусно пахнет ароматным кофе и сдобными булочками, щедро усыпанными сахарной пудрой. Несмотря на войну какая то выставка, да, вспоминаю, сельскохозяйственная, расположилась на берегу Оми, и там гремит военный оркестр.

Но самое притягательное — это, конечно, пристани, у которых, изо дня в день, стоят на причалах красавцы пароходы: страна самого полнаго промышленнаго прогресса могла бы гордиться тѣми пароходами, одноэтажными, а потом и двухэтажными, в послѣдніе перед 1917 годы не только пароходы, но даже теплоходы, которые поддерживали регулярное почтовое и пассажирское сообщеніе по рѣкам Иртышу, Оби, Тоболу и Турѣ, от Семипалатинска до Тюмени.

Эти пароходы были красиво оборудованы и комфортабельно обставлены, нам они казались тогда большими, на них почти всегда была вѣжливая прислуга, мужская и женская, каюты были

просторны, с отдѣльными умывальниками, с бархатными диванами, в парусиновых чехлах, тридцать лѣт тому назад на всѣх этих пассажирских и даже почти на всѣх товарных или, как их называли «буксирных» пароходах, горѣло уже электричество, были уютны, со своей кожаной мебелью, салоны-гостинныя и были просторны столовыя, широкія палубы отведены были для прогулок и вообще всяческій для путешествующих был введен комфорт и предусмотрѣны всѣ удовольствія.

Путешествовать на этих пароходах было, конечно, большим развлеченіем. Вы как то сразу чувствовали себя перенесенным из провинціальнаго, привычнаго затишья в мір движенія, аккуратности, техники и прогресса: всѣ металлическія части надраены, пахнет свѣжей масляной краской, внутри лак и бархат, ковры, аромат дорогих сигар, от дам пахнет духами, когда засидится в столовой послѣ ужина компанія, появляется кофэ, цѣлый на подносѣ ассортимент ликеров, — даже дѣтскими глазами, ни в чем этом не участвуя, я вбирал эти картины всеобщаго удобства и явнаго благополучія, с отмѣнным удовольствіем.

Мы, наша семья, мать и брат (отец был вѣчно занят службой), почти каждое лѣто странствовали на этих пароходах-гостинницах, кушали вдосталь, все, что хотѣли заказать, вплоть до соблазнительных и традиціонных пирожков по воскресеньям, дышали свѣжим воздухом рѣчных сибирских просторов, ходили гулять, в лѣс или по деревням, на долгих остановках, когда пароход брал дрова и так поправлялись здоровьем за перегон от Омска до Тобольска или Тюмени, что не нуждались ни в

какихъ курортахъ.

Конечно, за зеркальными окнами и бархатными занавѣсями рубки перваго класса и при свѣтѣ желтых, тогда калильно-угольных электрических лампіонов, жизнь представлялась нам иной, чѣм в деревенских избах. Там была бѣдность, злоба, водка. Но и сейчас, конечно, там, в этих сибирских деревнях и дальних селах, в каком нибудь, Богом забытом, городкѣ Ишимѣ все остается по старому, несмотря на ленинскіе уголки, колхоз, громкоговоритель и передвижной кинематограф.

Мы на видѣли самого дна, подлинной изнанки жизни сибирских крестьян, но то, что мы видѣли было пестрым и отнюдь не мрачным по своим отраженіям: потому что на ряду с образами и примѣрами (так мастерски выписанными Ив. А. Буниным в его «Деревнѣ») злобы, тьмы, грязи, болѣзней, бѣдности мы видѣли и веселых, довольных парней, и дѣвок с румяными щеками, готовых всегда расхохотаться, степенных мужиков, всѣм казалось довольных баб, деревня на нас, барчуков, не только хмурилась, в особенности сѣрыми, осенними, дождливыми днями, но и улыбалась нам, веселила нас, тянула к себѣ и умиляла.

В своих странствованіях по Сибири, пароходами, в вагонах третьяго класса, в кибитках, на телѣгах, двуколках и даже на возах, я никогда не испытывал какого либо особеннаго отчужденія от мужика, не чувствовал на себѣ его злобных взглядов, не боялся крестьян и не сторонился. А, теперь, с моим опытом вселенских скитаній, наблюдая, как живут здѣсь хотя бы, милліоны китайцев, как скромно, по своей одежкѣ протяги-

вают у себя на родинѣ ножки японцы, и как, не стыдясь и не смущаясь, все это свое они показывают чужим, ничего перед иностранцами не прихорашивая, не мѣняя, я должен сказать, что жили мы в Сибири жизнью нормальной, здоровой, пріятной, благополучной, в довольствѣ, в потокѣ своих собственных больших и малых радостей, и ничуть не чувствовали, что мы находимся в «штрафной колоніи», как любили выражаться либеральничавшіе публицисты в Санкт-Петербургѣ или в университетском Томскѣ.

Послѣ Омска пріятно вспомнить Тюмень, ея Царскую улицу, отличный магазин Агафуровых, богатые дома Колмогоровых, коммерческое собраніе, сад при нем, с акаціями в цвѣту, с буфетом и открытой сценой для дивертисментных выступленій, нѣкоего купца, с лицом столь откровенно монгольским, что, сразу послѣ русско-японской войны, его называли Ояма, страстнаго картежника и вообще игрока. Тут, тоже в тѣ времена (1905-7 г.г.), одна кондитерская на Царской улицѣ состязалась с другой по части выпечки удивительных трубочек со взбитыми сливками, разнообразнѣйших сортов пирожных, тортов, струцелей, кэксов, а шоколад мог конкурировать даже с самим Жорж Борманом. О купеческой, времен Островскаго, Тюмени писала, испуганно и сентиментально, нѣкая писательница Лухманова, но когда я там проводил свое дѣтство, эти разсказы об ужасах купеческих застѣнков и домостроевом бытѣ будто бы существовавших в серединѣ прошлаго просвѣщеннаго XIX вѣка, казались уже порожденіем истерической фантазіи.

В Тюмени для нас, молодежи и ребят, была рѣка с купальнями, были отличныя окрестности, зимой был обширный каток, своего рода клуб молодежи, с теплушкой, был, наконец, театр и устраивались танцовальныя вечера в офицерском собраніи. Театр имѣл прекрасную, для крохотнаго провинціальнаго городка, труппу профессіоналов, мѣнявшуюся с каждым сезоном. Здѣсь я впервые видѣл не только «Ревизора» и «Горе от ума», но и надуманные, претенціозные «Черные вороны», дешевую сатиру на культ создавшійся вокруг имени от. Іоанна Кронштадтскаго. Здѣсь же я, совсѣм мальчишкой, прочитал, взяв в библіотекѣ, разсказ Л. Андреева «В туманѣ», трактовавшій проблему пола.

Хорошо жили в Тюмени не только купцы, в окруженіи вѣковых сундуков и за высокими тесовыми воротами своих городских домов-усадеб, но и служилый чиновничій люд, получавшій, в сущности, гроши, но, при дешевизнѣ жизни, сводившій концы с концами.

Всю жизнь, напримѣр, помню, живо и свѣжо, как ѣздили мы в 1907 году в деревню, к сослуживцу отца, за семьдесят верст на масленицѣ, на блины. Ѣли пышные, ароматные, и нѣжные блины со всѣми легко доступными в Сибири деликатессами и с такой зернистой, мастерского засола, икрою, не только осетровой, но и щучьей, что здѣсь, за границей, вспоминая почти через тридцать лѣт, чувствую, как сводятся челюсти, сокрушаясь по былым вкусовым эмоціям.

Возвращались мы послѣ этой поѣздки обратно, в город, погожим воскресным солнечным зимним

днем. Небо было высоким и, несмотря на солнце, покрытым частыми перистыми облаками, по просторам полей с дальними перелѣсками шла от вѣтра золотистая пороша. И так было бодро на душѣ, так радостно, так пріятно: и от блинов, и от ночи, проведенной в кабинетѣ хозяина, гдѣ мы, всѣ мужчины и дѣти, спали на полу, на матрасах, положенных поверх шкур медвѣдей, и от того, что со мною в возкѣ сидѣли и папа, и мама, и так тепло и удобно было сидѣть на морозцѣ в сѣрой, подбитой мѣхом, форменной шинели, у родных колѣн, и радостно будоражило сознаніе, что завтра будет Великій Пост и опять реальное училище, классы, пріятели, вся жизнь, такая полнозвучная и полноцѣнная, казавшаяся воплощенным счастьем.

Эти ощущенія крѣпкаго, ароматнаго быта не надо смѣшивать с переживаніями 1905 года, первой революціи, которая, впрочем, в Сибири была изжита все таки скорѣе, чѣм в Европейской Россіи.

Тобольск 1908-10 г.г. Вмѣсто реальнаго, опять гимназія. Четвертый класс, гдѣ я впервые встрѣтился с латынью, догоняя товарищей, пятый класс и шестой, не до конца; кончать его пришлось в Иркутскѣ.

Средняя школа в Сибири по личному опыту: Омская гимназія, Екатеринбургская, Тюменское Александровское реальное училище, Тобольская гимназія и Иркутская. Достаточное поле для наблюденій!

Зданія всѣ были просторны, а иногда и величественно красивы. Высокіе корридоры, большіе

классы, прекрасные актовые залы, всѣ директора, как правило, осанисты и сановиты, особенно П. И. Словцов, сейчас не припомню в чем, по своему прошлому, связанный с великим химиком нашим Менделѣевым, который, как извѣстно, окончил ту же самую Тобольскую гимназію, гдѣ, в актовом залѣ, висѣл, рядом с царскими портретами, его большой с надписью портрет.

Жизнь шла для нас не только в классах, но и внѣ гимназіи. В Тобольскѣ был «круг», точнѣе четыреугольник из улиц, по которому, под вечер и в особенности по воскресеньям и праздникам, шло усиленное гуляніе учащейся молодежи и городского ремесленничества и мѣщанства. Был превосходный сад там, на горѣ, наверху, у памятника Ермаку, гдѣ столько было потеряно и обрѣтено юношеских трепещущих сердец. В 1908 г. в Тобольскѣ, из под полы, урывками, я читал в толстом журналѣ «Современный Міръ» (?) Арцыбашевскаго «Санина».

В Тобольскѣ было общественное собраніе, ампирнаго стиля, которое славилось тѣм, что его строили декабристы, был хорошій и любовно содержавшійся, музей Россійскаго Императорскаго Географическаго общества, были окрестности, которым мог бы позавидовать любой самый большой город в Россіи, да и вообще гдѣ угодно, — Ивановскій монастырь, Абалакскій и др., эти горы, запорошенныя снѣгом, кедры, ели, пихты, сосны в уборѣ зимы. Рѣка, нѣт, двѣ рѣки, потому что как раз под Тобольском Иртыш сливается с Тоболом.

В городѣ были: отличная городская больница

и, при ней, персонал опытных врачей, были бани, выстроенныя трудами и рвенiем городского головы Трусова, слух о которых шел по всей Сибири, электрическое освѣщенiе, телефонная сѣть, водопровод, и была та самая деревянная на улицах мостовая, которая произвела на послѣдняго Государя столь сильное впечатлѣнiе, в бытность его, Наслѣдником, в Тобольскѣ, что он, потом, неизмѣнно каждаго тобольскаго губернатора разспрашивал на аудiенцiи об этой деревянной мостовой.

Наѣзжали в Тобольск столичныя знаменитости, тенор А. М. Лабинскiй, тоболяк родом, со своей неподражаемой «Тишиной», Н. В. Плевицкая, странный композитор Н. В. Гартевельд, специализировавшiйся на записи пѣсен нашей каторги. Публика этого далекаго губернскаго центра ходила в театр, посѣщала заѣзжiй цирк с чемпiонатом борьбы, ходила друг к другу в гости, играли в винт, вист и преферанс, обильно, вкусно и длительно ужинали около полуночи, конечно злословили, иногда ругались, интриговали в мѣстных масштабах, и, вмѣстѣ с тѣм, как-то ладно и споро жили, дѣло дѣлали, в царскiе дни наполняли мундирами и долгополыми сюртуками собор, воспитывали дѣтей, учили их уму разуму, торговали; житiе, словом, было безболѣзненным, непостыдным, мирным и за что всѣм этим скромным и симпатичным обывателям, которые были не лучше, но, конечно, и не хуже скромных и симпатичных обывателей французских или британских, выпала на долю кровавая пытка гражданской войны и несказуемо жестоких экспериментов нашей революцiи — один Бог знает! Так уж, видно, на роду

было писано этому поколѣнію.

Тобольскій обыватель проявил много сдержаннаго благородства и трогательнаго сочувствія к Царской семьѣ, когда, по распоряженію безкрылаго и затурканнаго Временнаго Правительства, Государь, Царица и дѣти оказались плѣнниками того самого губернаторскаго дома на Большой Пятницкой улицѣ, в котором пишущій эти строки не раз запросто бывал на дѣтских пріемах, питая тайное влюбленіе к одной из младших дочерей губернатора Д. Ф. фон-Гагмана — Сонечкѣ.

Даже если вспомнить о Тарѣ, самом маленьком из городов, в которых когда либо мнѣ доводилось жить, и гдѣ прошло мое самое раннее дѣтство, с 1897 по 1904 год, то и этот город, отстоявшій от губернскаго центра в семистах верстах и от Омска, ближайшаго пункта желѣзной дороги, в 250, жил совсѣм не варварской, а, наоборот, тихой, мирной и пріятной жизнью.

Среди очень немногочисленнаго чиновничества были, встрѣчались иногда, люди большой культуры и пикники в Загородную рощу, выѣзды на встрѣчу пароходам, поужинать, званые обѣды в нашем домѣ, любительскіе спектакли, все это вспоминается сквозь дремучій лѣс истекших многих лѣт, как лишнее доказательство того, что, несмотря на то, что чиновничій Санкт-Петорбург Сибирь и не особенно жаловал, она, сама по себѣ, к началу нашего вѣка, стала жить жизнью богатаго, быстро насаждавшаго цивилизацію, края, перед которым открывалось самое заманчивое будущее.

Пусть меня заподозрят в сознательном преувеличеніи, но мнѣ все таки хочется сказать, что,

если бы в 1914 году не случилось европейской войны и не было бы в 1917 году нашей Революціи, к нашим сегодняшним дням Сибирь была бы оборудовала технически лучше многих районов Россіи, а, в индустріальном отношеніи, она могла бы успѣшно соперничать на міровых рынках и с Японіей и с Канадой.

ПЕРВАЯ РЕВОЛЮЦІЯ.

I.

Если тѣ мои соотечественники, которым подошел четвертый десяток или перевалило за него, оглянутся назад и станут в своей памяти перебирать образы тѣх, кто были в школѣ их учителями, я имѣю в виду среднюю школу, они навѣрное придут к выводу, что большинство из наставников было в тайной или даже явной оппозиціи существовавшему тогда строю. Строй тот погиб и, в нѣкотором отношеніи, заслуживал должно быть, что так многих имѣл он настроенными против себя из среды рядовых, обыкновенных русских людей. Но только в «нѣкотором отношеніи», потому что, надо сдѣлать поправку на характер русскаго человѣка, в особенности интеллигентнаго русскаго человѣка, в особенности до 1917 г.: интеллигент всегда чувствовал прежде нѣкоторое неудовлетвореніе, а иногда был даже без особенных к тому, по крайней мѣрѣ внѣшних, причин «всѣми недоволен».

Сейчас меня не интересует вопрос о политической неудовлетворенности средняго русскаго интеллигента до революціи, об этом так много говорится и пишется. Сейчас я говорю о житейской неудовлетворенности, об оппозиціи к тѣм условіям, которыми средній русскій интеллигент

и, в частности, преподаватель наших бывших школ, наставник и руководитель наших сверетников, был окружен. Стало ходячим утвержденіе, что наша школа учила, но не воспитывала. Но это не так или не совсѣм так. Большинство учителей только учили и это почти всегда были тѣ, кого я хочу классифицировать под рубрикой «недовольные элементы». Но были такіе, хоть один на гимназію, которые не только учили, но и воспитывали. Память о них остается свѣжей и благодарной на всю жизнь. Именно через них первое вѣяніе подлинной культуры проникало в сознаніе и сердце наше.

Но тут возникает вопрос, что понимать под словом «культура», как опредѣлить настоящую культуру, как отдѣлить ее от не настоящей? Прекрасное опредѣленіе дает В. В. Розанов, в одной из своих ранних книг, опубликованных еще в прошлом столѣтіи:

«Культура есть все, в чем завит, скрыт какой нибудь культ. Поэтому первобытный, элементарный человѣк есть не только тот кто, озирая мір новыми и изумленными глазами, ничего не различает в нем и одинаково дивится солнцу и пылающему вдали костру, но и тот, кто всему перестав изумляться, ко всему охладѣв, так же, так и дикарь только ощущает свои потребности и удовлетворяет им. Но тотчас, как человѣк отступает от этой первобытной элементарности, и чѣм далѣе он отступает, он становится культурен. В чем же выражается это отступленіе?

«В том, что противоположно элементарности, — в сложности. В понятіи культа содержится внутренній, духовный смысл культуры; в понятіи

«сложности» содержится ея внѣшнее проявленіе. Культурен тот, кто не только носит в себѣ какой-нибудь культ, но кто и сложен, т. е. не прост, не однообразен в идеях своих, в чувствах, стремленіях, — наконец, в навыках и всем складѣ жизни. Понятіе сложности настолько ясно, что не требует каких либо для себя разъясненій: напротив, болѣе внутренное понятіе культа нуждается в таком объясненіи.

«Культ есть внутреннее и особенное вниманіе к чему нибудь, — предпочтеніе нѣкотораго всему остальному. Дикарь, о котором сказали мы, что он на всю природу смотрит равно изумленным или, наоборот, равно охладѣвшим взглядом, — не имѣет ни к чему в ней особеннаго предпочтенія, ни к чему он не привязан, ничего горячѣе не любит. По отношенію к внутреннему существу его всѣ предметы большіе и малые, цѣнные и незначительные, равно удалены, т. е. для него нѣт, собственно, ничего цѣннаго, и в этом именно заключается сущность его безкультурности.

«Культура начинается там, гдѣ начинается любовь, гдѣ возникает привязанность, гдѣ взгляд человѣка, неопредѣленно блуждавшій по всюду, на чем нибудь останавливается и уже не ищет отойти от него. Тотчас, как произошло это, является и внѣшнее выраженіе культуры, сложность: новыя и особыя чувства отличаются от прежних, обыкновенных. Они выдѣляются, образуют свѣжую и особенную вѣтвь в духовном существѣ человѣка, рост которой обыкновенно сосредотачивает в себѣ все его дальнѣйшее развитіе, требует всѣх его сил.

«Предметом культа может быть все, в мѣру духовных даров того, в ком культ. Им может быть земля, с любовью и вниманіем воздѣлываемая когда человѣк смотрит на нее как на «кормилицу» свою, дѣтей своих, своих предков; когда безплодіе ея он считает себѣ «наказаніем Божіим»; и, напротив, человѣк дик, безкультурен относительно земли, когда поступает с ней как хищник, ворующій ея дары и с ними убѣгающій на другое поле, чтобы также обокрасть и его, обезплодить и бросить. Предметом такого же различнаго отношенія может быть домашній кров — или гнѣздо, гдѣ человѣк вырос, гдѣ схоронены ему близкіе, которое он увьет, сбережет своим дѣтям; или помѣщеніе, гдѣ он находится до пріисканія другого, удобнѣйшаго. Свой край, наконец, родина, суть болѣе обширные, но однородные с этими предметы культа особой любви».

За послѣдніе два года в гимназіи, в Иркутскѣ, мнѣ посчастливилось попасть под духовное воздѣйствіе учителя, которому были близки и дороги тѣ самыя идеи, которыя В. В. Розанов намѣчал еще в девяностых годах матеріалистическаго прошлаго вѣка. Розанов оставался, как и другіе, мыслившіе в том же направленіи, непризнанным пророком в своем отечествѣ. Я говорю об учителѣ классической гимназіи Л. Г. Михалковичѣ, о котором потом дошел до меня слух, что он, в годы революціи, стал преподавателем Иркутскаго университета, а, затѣм, преждевременно скончался, пережив, конечно, страшную внутреннюю трагедію. До революціи он был чужд руководящим идеологическим направленіям, господствовав-

шим среди русских интеллигентов.

Среднее образованіе он получил в семинаріи, высшее в историко-филологическом институтѣ. Был учеником и страстным поклонником проф. Ф. Ф. Зѣлиньскаго, преклонялся перед поэзіей Владиміра Соловьева, увлекался Иннокентіем Анненским («Кипарисовый ларец»), читал «Столп и утвержденіе истины», журнал «Софія», выписывал «Аполлон», а, до того, «Золотое Руно», но не был ни декадентом, ни символистом, ни акмеистом, был, прежде всего и всего больше, русским православным человѣком, націоналистом без всяких иных прилагательных, хорошим педагогом, внимательным, снисходительным, чутким, отзывчивым, скромным, в личной жизни несчастным — кажется жена его оставила, жил он, насколько припоминаю, с сыном, мальчиком лѣт девяти и с мамашей, женщиной простой и уже старой, вдовою не то священника, не то дьякона.

С этим «человѣком в футлярѣ» — футляр в видѣ форменнаго сюртука с петличками на воротникѣ, он носил неизмѣнно, — я встрѣчался довольно часто, в частном порядкѣ. Раз в недѣлю я уж обязательно бывал у него вечером на квартирѣ, иногда мы с ним гуляли по главной улицѣ или в скверѣ, на берегу Ангары. Гуляли с ним и другіе гимназисты. Одно время по веснѣ, он, кажется, был томительно и свято влюблен в милую, хорошенькую барышню лѣт 18-ти, дочь или племянницу другого нашего преподавателя словесности, за которой ухаживали и с которой «по праву» гуляли гимназисты старших классов. За доброту и снисходительность нѣкоторые из непокорных не всегда считались

с педагогическим авторитетом Л. Г. Михалковича и, конечно, по складу своего ума и характера, он скорѣе подходил к профессiи университетскаго преподавателя.

Он любил мнѣ читать вслух отрывки из «Трех разговоров» и помнил наизусть почти весь «Кипарисовый ларец», у него были, конечно, всѣ изданiя В. В. Розанова тогда, в широких кругах интеллигенцiи, непризнававшагося и даже подчас травимаго (Iудушка, «нововременец») вообще он жил в той сферѣ мыслей о Россiи и русском человѣкѣ, которую, кромѣ перечисленных, опредѣляют имена Константина Леонтьева, Достоевскаго, Булгакова, Бердяева. Теченiе мысли, ставшее властителем дум русскаго Зарубежья, но почти гонимое на верхах руководящей россiйской мысли до 1917 года.

Я очень счастлив, что судьба дала мнѣ возможность прiобщиться к источнику именно этой простой и животворящей русской мысли, для которой понятiя родина и церковь были не отвлеченными символами, но живыми, близкими, милыми синонимами Россiи, которую всѣ мы тогда имѣли и которой многiе из нас не только не дорожили, но и неглижировали. Но не будем корить их строго,—столькiе поплатились за грѣх свой такими страданiями, такими муками, что, конечно, сумѣли искупить его. И будем помнить слова того же Розанова: «в рѣчи, в словах, русскiй человѣк гораздо хуже, чѣм он есть в сердцѣ, в умѣ своем; и даже нерѣдко он циник в словах только потому, что боится обнаружить свой внутреннiй идеализм. Пустым, безсодержательным, — а только такой человѣк может быть в самом ядрѣ своем безрелигiозен — русскiй

народ никогда не был и не будет даже в вѣтвях своих, каковою является так называемое «образованнее общество», («Сумерки просвѣщенія» СПБ. 1899, стр. 42).

С Михалковичем мы иногда, в букальном смыслѣ слова, просиживали ночи напролет, до самого разсвѣта, особенно весною, читали, говорили, иногда спорили, а то могли залюбоваться какой нибудь картиною в журналѣ или долго и молча смотрѣть, не отрываясь, на рукописи Пушкина, изданныя князем Олегом Константиновичем, с точнѣйшим воспроизведеніем оригиналов: бумага с тѣми же водяными знаками, почерк «в натуральную величину», полная иллюзія, что у вас в руках лист, к которому нѣкогда прикасалась геніальная рука. Эти разговоры, настроенія собесѣдников, чаянія и устремленія юноши и его добраго наставника, были в в разрѣз со всѣми разговорами, которые слышались тогда повсюду «от финских хладных скал до пламенной Колхиды». Эти разговоры и настроенія были тогда вызывающе «против теченія». Но как я благодарен им теперь и от скольких роковых ошибок они потом уберегали, когда закружилась революція и потекли сѣрые будни эмиграціи, растянувшіеся на годы.

Михалкович в Иркутскѣ был продолжателем прекрасной традиціи русской педагогической мысли не довольствоваться только школьным общеніем с учащимися. Пишущій эти строки за девять лѣт собственной работы преподавателем в средних школах оставался неизмѣнно вѣрным этой традиціи, увѣковеченной у нас в педагогической литературѣ еще С. А. Рачинским, который писал:

«Сохраняю постоянныя сношенія с бывшими учениками моей школы. Они гостят в ней подолгу на Святках, проводят со мною цѣлые дни перед праздниками. Имѣю случай много читать с ними, много говорить с ними о том, что они читают. Что же дѣлать, если вся наша поддѣльная народная литература претит нам, и мы должны обращаться к литературѣ настоящей, неподдѣльной. Если при этом оказывается, что Некрасов и Островскій им в горло не лѣзут, а слѣдят они с замираніем сердца за терзаніями Брута, за гибелью Коріолана. Если Мильтоновскій сатана им понятнѣе Павла Ивановика Чичикова («Потеряннаго рая» я не думал заводить, они сами притащили его в школу). Если «Записки Охотника», этот перл гоголевскаго періода по прозрачной красотѣ формы принадлежащій пушкинскому, оставляет их равнодушными а «Ундина» Жуковскаго с первых стихов овладѣвает ими. Если им легче проникнуть с Гомером в греческій Олимп, чѣм с Гоголем в быт петербургских чиновников... Но ничто не может сравниться с тѣм обаяніем, которое производят творенія Пушкина, начиная с его сказок и кончая «Борисом Годуновым». Когда я еще не приступал к занятіям в школѣ, я думал, что знаю Пушкина и умѣю его цѣнить,—я ошибался. Узнал я его только теперь. Этот свѣтлый, реальный мір, который меня окружает, мір бодрой вѣры и трезваго смиренія, мір духовной жажды и здраваго смысла — этот мір столь новый, и как будто давно знакомый — это его мір, с ранняго дѣтства плѣнившій и манившій нас. Он его пѣвец, он его пророк... («Сельская школа» стр. 52-53).

II.

Нѣт ничего наивнѣе утвержденія, что революція 1917 г. началась бабьим бунтом у продовольственных лавок и, что война 1914-18 г.г. есть главная и единственная причина гибели императорской Россіи. Война ускорила крушеніе имперіи, безконечно углубила это крушеніе, и, вмѣстѣ с тѣм, сдѣлала очень легким переход от абсолютизма к анархіи, которая потом приняла формы совѣтскаго, большевистскаго строя, но революція, как все таки всѣм нам извѣстно, готовилась давно и трон подтачивался десятками лѣт.

Всѣ принимали то или иное участіе в этом процессѣ, поскольку каждый наивно вѣрил, что дальше будет и должно быть лучше, чѣм теперь, поскольку большинство из нас и по сей день убѣждены, что бывают идеальные режимы, что стоит объявить идеальный государственный порядок, написать красивую конституцію как все сразу образуется, настает благораствореніе воздухов и изобиліе плодов земных. Наша школа, даже средняя, принимала участіе в этой подготовкѣ государственнаго взрыва. Событіе 9 января 1905 г. застало меня в первом классѣ гимназіи, в Омскѣ. Я жил «на хлѣбах» у начальника отдѣленія казенной палаты, у котораго было два сына и собственный чудесный, барскій дом у Загородной рощи. Дѣти занимались спортом, старшій мальчик, который тогда был в пятом классѣ, мастерил узенькія, обтянутыя просмоленой парусиной, лодки, «гички», на которых носился один под парусом в весенній разлив по Иртышу, младшій мальчик, не по лѣтам

дородный, рано возмужавшій, ходил на охоту и бѣгал на лыжах. Из таких бы ребят, гдѣ нибудь в Канадѣ, сдѣлали бы замѣчательных людей: крѣпких, мужественных, закаленных, слуг и защитников отечества. Но родителям в данном случаѣ было не до того. Они занимались революціей, вѣрнѣе ея подготовкой.

Г. Пищиков уже имѣл в прошлом осложненія с администраціей и, к тому же, не хотѣл лишаться казеннаго мѣста, поэтому держался осторожно и умѣло отмалчивался. Его супруга, очень умная и образованная женщина, выражала свои чувства болѣе смѣло. Как сейчас помню, я читал в это время «Записки Пикквикскаго Клуба» и издавал, в единственном экземплярѣ, рукописный журнал: «Жизнь Земли», в котором удѣлял много вниманія войнѣ с Японіей. Дѣтски естественное, патріотическое настроеніе журнала не вызывало особеннаго восторга у моих хозяев и надо мной старшіе подшучивали, что де вот, мол, патріот когда умываюсь по утрам в ванной и то пою «Боже, царя храни». И вот, сижу я погожим ярко-солнечным январьским днем, поправляясь послѣ скарлатины и потому еще не посѣщая гимназіи, на полу в комнатѣ Евелины Михайловны и занимаюсь тѣм, что навожу лупу на щепоточку курительнаго табака, пока он не задымит сладковато волнующим турецким ароматом и, как раз в этот момент, приходит, помню, петербургская почта с описаніем демонстраціи перед Зимним Дворцом. Я не буду припоминать, что тогда вокруг меня говорилось, все равно не припомню, но я ясно помню, как нам в дѣтскую был передан портрет священника

Гапона и как, вообще, много тогда было повсюду этих открыточных портретов. А потом, помню, послѣ 9 января, как у нас, у Пищиковых, собирались на таинственные ужины, не для карт, как бывало у отца дома, в Тарѣ, а для негромких, дѣловых, каких-то очень важных и, вмѣстѣ, таинственных разговоров и как на этих совѣщаніях присутствовал (нам в дѣтской это стало извѣстно) Букейханов, ученый лѣсовод и лидер не то киргиз, не то татар, впослѣдствіи лѣвый член первой Государственной Думы, принимавшій большое участіе и в событіях 1917 года.

Осень 1905 г. застает меня в Екатеринбургѣ, гимназистом второго класса, и хотя меня родители в серединѣ октября переводят в Тюмень, я еще помню из екатеринбургских мимолетных впечатлѣній нѣкое подобіе бунта младшеклассников и сухую фигуру директора со странной фамиліей Яненц, который твердо и рѣшительно боролся с нароставшей даже в средѣ малышей волной революціонных бунтарских чувств.

В Тюмени, в Александровском реальном училищѣ, революціонныя страсти пылали открыто. У нас был урок арифметики, учитель сдѣлал письменную, я знал наперед, что задачи навѣрное не рѣшу, и в глубинѣ сознанія, прислушиваясь к гулу сходки в четвертом классѣ, думал, что если урок сорвут, то, как никак, буду спасен от двойки, но когда корридор загудѣл, затопали ноги идущих и бѣгущих и когда распахнулась дверь и в ней показались четвертоклассники и какой то шестиклассник заявил учителю, что урок должен быть прекращен, т. к. «постановлено объявить стачку»,

я встал с первой парты и протестовал против насилія (право, не затѣм, чтоб выслужиться!). Меня органически с дѣтства всегда угнетала стадность. Почему какіе то таинственные «они», статочный комитет, революціонеры, таинственныя силы гдѣ-то там, в подпольи, совсѣм нам чужіе и невѣдомые, могут выносить рѣшенія и мы должны им подчиняться, вливаться в эту стихію, которая неизвѣстно куда унесет.

На мой протест, конечно, старшіе не обратили вниманія. Педагог протестовал не очень сильно и мы, гурьбой, повалили по лѣстницѣ, вниз, «бастовать» и меня стал, вдруг, самого подмывать этот напор чувства «освобожденія» и когду я, в общем потокѣ, который базлал: «Вихри враждебные», спускался по лѣстницѣ и видѣл монолитную, маленькую, плотную, наполеоновскую фигуру в вицмундирѣ, инспектора Л. Д. Дирдовскаго, котораго вдруг можно оказалось не бояться, я почувствовал, и до сих пор помню это пьянящее ощущеніе в груди, которое во всѣ революціи заставляло уличныя толпы бѣсноваться от кружащей голову и сердце радости. Мы бастовали. Бастовали почти всю зиму. Позанимаемся, позанимаемся и опять нас снимают с занятій «в революціонном порядкѣ». Через год, под воздѣйствіем кузины, революціонерки из 4-го класса гимназіи, я что то уже сам печатал, тайком, рано рано по утру на гектографѣ и, приходя в гимназію раньше всѣх, с сердцем, ушедшим в пятки, что буду накрыт, сам разложил как то свои прокламаціи по пустым партам третьяго класса, пока не был пойман отцом вмѣстѣ с гектографом и соотвѣтствующе наказан. Роди-

тели наши, кромѣ моих и еще немногих, вели переговоры с начальством реальнаго училища. С каждой недѣлей их требованія к «начальству» становились все болѣе рѣшительными и радикальными. Отцу моему эта игра в революцію вокруг реальнаго училища страшно надоѣла и когда я опять как-то пришел из училища утром, не успѣв туда уйти, и на его вопрос отвѣтил, что мы «опять забастовали», он мнѣ не повѣрил, быстро одѣлся, схватил меня за руку, потащил в училище, но когда мы подошли к внушительному подъѣзду, то увидали объявленіе за подписью кого-то, директора или инспектора, что занятія дѣйствительно прекращены. С приходом в Тюмень, из Маньчжуріи, одного или двух полков, мѣстная провинціальная революція пошла на убыль, гимназистки стали нам, реалистам, предпочитать поручиков и подпоручиков, из которых многіе имѣли на груди Станислава с мечами и бантом, а когда, в концѣ 1906 или в началѣ 1907 г., по нашему корридору прошел в тужуркѣ с красными отворотами новый тобольскій губернатор Н. Л. Гондатти, революція в Тюмени окончательно выдохлась: город стал мирно торговать, играть в карты, ѣздить лѣтом на пикники, ходить в театр, гдѣ, правда, шли «Черные вороны», обывателя увѣряли, что это об отцѣ Іоаннѣ Кронштадтскам, и читать, почему то казавшійся революціонным, разсказ Л. Андреева: «В туманѣ».

Теперь, через тридцать лѣт вспоминая как мною, десятилѣтним, переживалась первая революція, которая, как описано выше, захватила и школу, я должен так подѣлить отношеніе педаго-

гов к событіям, Меньшинство, внѣшне как и внутренне, были против революціи и, по долгу службы и внутреннему убѣжденію, боролись с нею. Каждый знает, сколько директоров и инспекторов наших гимназій и реальных училищ стали тогда жертвами словесных заушеній, всяческих обструкцій и даже оскорбленія дѣйствіем со стороны, вышедшей из повиновенія, молодежи. Большинство же плыло по теченію. Внѣшне сохраняя лойальность строю и законам, они давали понять, что, внутренне, они на сторонѣ тѣх, кто борется на баррикадах. Так было и в высшей школѣ. Так было, впрочем, еще в 70-ые, в 80-ые, в 90-ые годы. События 1917—18 г. г. подготовлялись исподволь и настойчиво, яд развала имперіи расползался по всему ея организму, это был соціальный яд недовольства, неудовлетворенности, безпокойных исканій невѣдомаго рая, яд протеста ради протеста, яд непріятія дѣйствительности. У Розанова это хорошо описано было в циклѣ статей «Старое и новое».

«В 70-х и в началѣ 80-х годов мы всѣ учились нѣсколько иначе, чѣм учатся теперь. Мы всѣ были теоретиками и мечтателями с ранней школьной скамьи. Средняя школа для нас проносилась, как в туманѣ, и мы всѣ смотрѣли, из разных захолустных уголков Россіи, в ту неопредѣленную даль, гдѣ для нас и было только одно — сіяніе милаго, обвѣяннаго мечтами, нас ожидавшаго университета. Собственно, только эта поэзія ожиданія и согрѣвала нас в тѣ ранніе года, и ничѣм учитель не мог так привязать к себѣ и так заинтересовать в классѣ, как разсказав что нибудь о

годах своего университетскаго ученія: какія бывают профессора, что они читают, какой они имѣют вид, наконец. Мы уже во многом были серьезны, но если в чем были дѣтьми, со всею нескрываемою и нас несмущавшею наивностью, так именно в этом ожиданіи, в этих усиліях представить людей, занятых только наукой, т. е. изысканіем истины, и совершенно непохожих на всѣх окружающих нас, которые нам наскучили, которых мы часто не любили и не уважали. Помню эти долгія, уединенныя прогулки по нагорному берегу Волги, с опредѣленіем по положенію солнца того направленія, гдѣ был университетскій город, и куда вот уже скоро умчит поѣзд и... тогда начнется совсѣм, совсѣм другое. И ничего другого не было... Все было обманом старых литературных воспоминаній и немногих, избранных впечатлѣній наших школьных учителей. Университет universitas omnium litterarum, вся эта «филологія» наша, была неправильна. Никак нельзя было представить, из каких требованій ума вытекало это распредѣленіе наук и в особенности, как можно было преподавать науку, совершенно сбиваясь в ея опредѣленіях. Было чтеніе разных вещей о разных предметах, хрестоматія или сборник практически полезных свѣдѣній, но не было науки в смыслѣ теоріи, своими широкими рамами покрывающей естественныя потребности естественно же развивающагося ума. Даже и идеи о возможности и необходимости такого теоретизма нигдѣ не было. Самые предметы наук как то странно никого не интересовали; интересовали книжки, написанныя об этих предметах, репутація широкой в них начитан-

ности. В идеѣ — огромное множество островов, ни к чему не примыкающих, в дѣйствительности — просто разсказы об островах, которые давно скрылись под поверхностью воды. А мы ждали материка. О, как удовлетворил бы нас Фома Аквинскій, хотя между нами многіе пришли сюда атеистами, или Бодэн, Гоббз, Жозэф де Мэстр, хотя мы вовсе не были «легитимисты». Но мы ждали складности; и кто бы нам ее ни дал — мы бы за ним пошли».

Глубоко и вѣще прав был Розанов когда писал эти строки в концѣ девяностых годов прошлаго вѣка. От себя добавим, что русской интеллигенціи вмѣсто складности національной идеи дали складность историческаго матеріализма и нѣт ничего удивительнаго в том, что, несмотря на Чаадаева, Пушкина, Леонтьева, Достоевскаго, Россія пошла за Карлом Марксом. Была в этом, кромѣ умственной, и психологическая подготовка. На верхах мысли, хама было не меньше, чѣм в низах. У Розанова это тонко и мастерски отмѣчено, хотя он сам вряд ли сознавал провиденціальность зарисованных им давным давно образов, для будущих судеб Россіи. Нелюбовь мысли ради мысли, невѣріе в мысль, недружелюбіе к мыслящим инако, духовный нигилизм, душевная нечуткость, чувство нетерпимости к «противнику», в общем своему же брату, отсутствіе элементарнаго доброжелательства — все это были недостатки, с которыми семья и школа должны были бороться, но не боролись или не умѣли, не знали как к этой борьбѣ приступить. Розанов говорит:

«Тогда в журналах все писали о «кружкѣ

молодых профессоров» в нашем университетѣ; о стариках никто не писал и не говорил — только они сами издавали один ученый труд за другим, и до этого никому не было, повидимому, дѣла. Работали в пустынѣ. Молодые же профессора, за исключеніем двух-трех, все были какіе то розовые или упитанные, и чрезвычайно уморительные в своих усиліях показаться «страшными». Наивны они были очень: об одном разсказывали в университетѣ, что он все укладывал в чемодан бѣлье, говоря, что его скоро «вышлют», — конечно, выслать его было рѣшительно не за что и он до сих пор строчит свою безталанную макулатуру во многих наших «передовых» изданіях. Этот профессор, охотнѣе возившійся с чемоданом, чѣм с книгами, понимая, что это не может не отражаться на лекціях, достаточно темно и достаточно ясно намекал на нѣкоторую бѣдность развитія, при всей эрудиціи, у его старшаго коллеги по факультету, который издавал тогда свои капитальныя работы по финансовому праву.

«Эпиграфы к сочиненіям обыкновенно брались тоже из какого нибудь «страшнаго» философа. «Не плакать, не смѣяться, но понимать. Spinosa, — помню, стояло на брошюрѣ из веленевой бумаги у одного профессора, хотя из трех указанных проявленій человѣческой натуры извѣстно было всѣм, что он любит только второе. Все это было наивно, все было порой невыносимо, большое русло студентов, как и всякой большей массы, становилось все болѣе и болѣе тѣм, чего от них ожидали. — «Я не хочу пить за студентов», — сказал один старый, нынѣ покойный, профессор, когда 12

января ему предложили поднять бокал «за молодежь». Об этом разсказывали потом, и я не забуду с каким уваженіем начали смотрѣть на него послѣ этого случая очень многіе из студентов. Раскол уже тогда и там начинался. Как теперь помню, этого безукоризненнаго ученаго на одном диспутѣ по палеонтологіи: красавец — доцент, очень рѣчистый, на возраженіе невзрачнаго маленькаго старичка, ему офиціально оппонировавшаго, сказал скромно и торжественно: «но, позвольте, значит вы не знакомы с послѣдними замѣчаніями знаменитаго вѣнскаго ученаго NN». Старик смутился и, кажется, ничего не мог возразить. Что же, на седьмом десяткѣ лѣт, быть может больной, он и вправду не успѣл еще, может статься, разрѣзать послѣдних книжек ученых изданій, и, кажется, жалѣл об этом, считал это стыдным для себя. «Да позвольте», вдруг поднялся рядом со стариком сидѣвшій профессор, и сразу все покрыл своею гигантской фигурою и голосом: «мой достоуважаемый учитель» (и он обратился к смутившемуся старику, о котором я тут только узнал, что это был знаменитый ученый, сам объѣхавшій всю Россію, еще когда доцентик не появлялся на свѣт), «мой достоуважаемый учитель говорит вовсе не то, и вы только путаете дѣло своими ссылками».. смял растерявшагося магистранта с его вѣнскими профессорами и в крупных, рѣзких штрихах показал, в чем суть дѣла и что этой сути дѣла даже не замѣтил опрятно одѣтый диспутант, все только разрѣзавшій новыя книжки и в глаза не видавшій ни одного геологическаго разрѣза и никаких ока-

менѣлостей. Старшіе профессора, обросшіе сѣдою щетиною, были невзрачны, неуклюжи, сгорблены под тяжестью трудов и лѣт; но в своих потрепанных виц-мундирчиках они были удивительно как внутренно изящны, всегда просты, — это чувствовалось, — возвышены умом и сердцем. Совсѣм не то было в кружкѣ «молодых профессоров».

III.

На забытой полкѣ моей библіотеки я нашел забытую книгу:

— «Страницы воспоминаній» Константина Леонтьева, изданіе «Парфенон», через фиту, Санкт-петербург, 1922 год.

Странный был это год в Санкт-Петербургѣ, странная эпоха: одновременно с дѣлом Таганцева, о котором, в самом концѣ 1934 года так обстоятельно вспоминал А. В. Амфитеатров, разстрѣлом Гумилева, жуткой смертью Ал. Блока, Карсавин писал свой философскій памфлет: «Восток, Запад и Русская идея», а издательство «Парфенон» выпускало страницы воспоминаній Константина Леонтьева, столпа реакціи.

Редактировал это изданіе и написал к нему предисловіе П. К. Губер. Предисловіе также заслуживает быть отмѣченным, принимая во вниманіе обстановку и атмосферу Сѣверной Коммуны, в эпоху военнаго коммунизма.

«В самом концѣ 1904 г., — пишет Губер, — я сидѣл в читальной залѣ Публичной Библіотеки в Петербургѣ и с нетерпѣніем новоиспеченнаго студента занимался каким-то спеціальным вопросом русской исторіи. Предмет моих ученых изысканій

казался скучен до-нельзя. Помнится, это было что-то, касающееся систем податного обложенія в Московском Государствѣ. Послѣ двух часов непрерывнаго чтенія я почувствовал, что долѣе продолжать не могу. Вниманіе утомилось; мозг алкал перемѣны. Я взял одну из бывших у меня под рукою книг, развернул наудачу и стал читать прямо со средины страницы.

«Никогда не забуду впечатлѣнія, которое мнѣ пришлось испытать. Это было нѣчто подобное вспышкѣ яркаго свѣта среди сѣрых, унылых сумерек. Не о содержаніи говорю я здѣсь. При моей тогдашней подготовкѣ я не мог оцѣнить по достоинству глубоко-своеобразный мір идей, столь неожиданно передо мною открывшійся. Но самый стиль и тон поразили меня. Этот язык, такой яркій, точный, выразительный, так густо насыщенный, мыслію, казалось, таил в себѣ что-то властно подчиняющее молодой, неопытный ум. Едва успѣв пробѣжать нѣсколько строк, я торопливо перекинул страницы и взглянул на подпись, потом на заглавіе. Статья была подписана К. Леонтьев и называлась: «Византизм и Славянство», — огненный памфлет, по ироніи судьбы погребенный в сухом и мертвом академическом изданіи.

«Имя Леонтьева ничего не сказало мнѣ в первую минуту. Но потом я вспомнил, что за нѣсколько мѣсяцев перед тѣм мнѣ пришлось читать книгу П. Н. Милюкова: «Из исторіи русской интеллигенціи». Из всей статьи Милюкова у меня осталось в памяти только одно: Леонтьев был консерватор-мракобѣс, сожалѣвшій, что у нас нѣт аппарата, который позволял бы освѣтить внутрен-

ность души умѣренных либералов, подобно тому, как ученые біологи освѣщают внутренность щуки, вводя ей в желудок электрическую лампочку. Это казалось курьезом, не больше. Но я уже не вѣрил Милюкову и рѣшил при первой возможности продолжать знакомство с невѣдомым мнѣ интересным писателем.

«Трудность состояла в том, что я не имѣл о нем никаких свѣдѣній и даже не знал, как называются другія его сочиненія. Заглянуть в Энциклопедическій словарь, гдѣ напечатана весьма содержательная, хотя и краткая статья Владиміра Соловьева, я не догадался. Попробовал спросить в библіотекѣ «Полное собраніе сочиненій Константина Леонтьева», но мнѣ отвѣтили, что такого собранія не имѣется. Всѣ, к кому я обращался за справками, не исключая университетских профессоров, отговаривались незнаніем. Покойный М. А. Дьяконов тоже помнил прозрачную щуку, но и только. Однако, мнѣ повезло. Нѣсколько дней спустя я пріобрѣл у букиниста на Литейном два растрепанные тома сборника: «Восток, Россія и славянство» и нетерпѣливо принялся за чтеніе.

«Нужно только вспомнить, какое это было время: начало 1905 года, «весна» Святополк-Мирскаго, канун 9-го января. Я состоял на первом курсѣ, и мнѣ едва исполнилось восемнадцать лѣт. У меня были всѣ предвзятыя мнѣнія, всѣ суевѣрія и предразсудки интеллигентнаго юноши той эпохи. Міровоззрѣніе туманное, неопредѣленное (впрочем, оно мнѣ тогда казалось весьма опредѣленным), слегка восторженное, очень нетерпимое и исключительное, было у меня общим

с большинством моих сверстников. Мнѣ все казалось, что не сегодня-завтра должно произойти нѣчто необыкновенно важное, счастливое, нужное для всего человѣчества и для меня лично. И это нѣчто есть революція. Но революцію удерживают желѣзными цѣпями подлые, злые и, главное, глупые люди, которых зовут черносотенцами и реакціонерами. В таком настроеніи стал я изучать Леонтьева. Разочаровался-ли я в нем? О нѣт, напротив: с жадностью проглотил книгу до самого конца. Но я был возмущен. Такого изступленнаго, такого чернаго реакціонера я еще не видывал. Вот не угодно ли:

«Субъективнаго благоденствія и счастья свобода и равенство не дали никому».

«Глупо и стыдно людям, уважающим реализм, вѣрить в такую нереализуемую вещь, как счастье человѣчества, даже и приблизительное».

«Истинное христіанство учит, что какова бы ни была, по личным немощам своим, земная іерархія, она есть отраженіе небесной».

«Государство обязано всегда быть грозным, иногда жестоким и безпощадным, потому, что общество всегда и вездѣ слишком подвижно, бѣдно мыслію и слишком страстно».

«Мужик, монах, купец стараго духа — вот истинно русскіе граждане, а не мы»...

«По основному закону нашей Имперіи, по существенному духу націи нашей, законно и хорошо все то, что исходит от Верховной Власти. Законно было закрѣпощеніе; законно и хорошо было раздѣленіе народа на сословія; все было хорошо в свое время — и старые, закрытые суды, и

тѣлесное наказаніе... Мы не считаем настоящим русским того, кто не умѣет так думать, хотя бы он был и самый честный, и самый полезный в дѣлах своих человѣк»

«Само собою разумѣется, — пишет в 1922 году в совѣтском Санктпетербургѣ Губер, — что я почувствовал себя оскорбленным в самых драгоцѣнных убѣжденіях своих. Книгу запер в шкаф, а над автором мысленно поставил крест, рѣшив никогда не возвращаться к нему.

«Но прошло немного времени, и я замѣтил слѣдующее любопытное обстоятельство: мое отношеніе к историческим событіям и далекаго прошлаго, и близкой современности чувствительным образом измѣнилось. Нельзя сказать, чтобы я заимствовал у Леонтьева какіе-либо его взгляды. Леонтьевцем в полном значеніи слова я не сдѣлался ни тогда, ни впослѣдствіи. Но мнѣ вдруг стали знакомы такія точки зрѣнія, о которых до той поры не имѣл я никакого понятія.

«Картина общественной жизни, прежде развертывавшаяся передо мною, как бы на плоскости, внезапно обрѣла глубину и рельеф. Абстрактныя категоріи ожили и облеклись плотью.

«С тѣх пор я не раз обращался к Леонтьеву, перечитывая его сочиненія и в старых книжках «Русскаго Вѣстника», и в новом полном собраніи, изданном, наконец, в свѣт под редакціей прот. Фуделя. И постянно укрѣплялся в своем первоначальном впечатлѣніи: Леонтьев, так упорно стремившійся быть проповѣдником и учителем, всего ощутительнѣе дѣйствует не как учитель жизни, а как воспитатель ума. В своей угловатой, непре-

клонной цѣльности он похож на алмаз, шлифующій болѣе податливые и мягкіе камни, дающій им грани и блеск, которых прежде они не имѣли».

Не соглашаться нарочито с послѣдними словами Губера вряд-ли стоит; писались они под пятою, тогда еще тупой и мстительной, совѣтской цензуры. Но, все таки, надо подчеркнуть, что нѣт слов удивленію, что в просвѣщенном Петербургѣ, который разбирался в судьбах Россіи лучше, чѣм другіе наши города, который дальше видѣл, правительство, вліятельныя теченія, близкія строю, уклонились от своего казалось-бы священнаго долга не только издать (хотя бы на средства казны) собраніе сочиненій Леонтьева и других сходных с ним національных мыслителей, но пустить подобныя изданія в народ, раздавать их в награду учащимся, всячески их популяризировать и почаще на них ссылаться в офиціальных обращеніях и офиціальных изданіях.

Столько новаго придумал и изобрѣл русскій геній: как это, в самом дѣлѣ, мы не догадались, что уже с конца прошлаго вѣка и особенно с 1904 года, власть должна была заняться хоть какой нибудь активной пропагандой національных идей, хотя бы в противовѣс подпольной агитаціи народовольцев, соціалистов и либералов всѣх мастей. И в этой пропагандѣ и агитаціи за сохраніе строя, кто, как не Константин Леонтьев, даже из гроба, мог оказать неоцѣнимую услугу.

Увы, К. Леонтьева пытливым умам, даже в столицѣ, надо было, в разгар первой революціи, искать на барахолкѣ у букиниста. Боже, как все это было и смѣшно и трагично!

Я привожу этот отрывок, как прекрасную иллюстрацію настроеній молодежи 1904-5 г.г. подтверждающую мои собственныя реминисценціи.

IV.

Мои отношенія с послѣдней революціей опять таки преломляются через школу. На этот раз, высшую. Тут, предварительно, надо отмѣтить, что 1912 и 1913 г. г. я с большой пользой для себя провожу за-границей: Берлин, Париж, Тулуза. В Парижѣ, на авеню де Гобэлэн, в русском информаціонном бюро, от секретаря, старой соціалистической личности, по фамиліи, кажется, Миронов, я впервые услышал, что у нас есть «русскій Жорэс». На мой вопрос, кто же это он, г. Миронов мнѣ, не без удивленія, отвѣтил, что это Н. Д. Авксентьев. Мнѣ было дано понять, что не мѣшало бы и мнѣ посѣтить доклад тов. Авксентьева. Но в Парижѣ для меня, в семнадцать лѣт, было столько других радостей, что я, каюсь, так и не пошел слушать русскаго Жорэса.

В Тулузѣ мы не столько ходили в университет, сколько гуляли по роскошной (послѣ Иркутска она казалась — роскошной) улицѣ Альзас-Лоррэн и в «Жардэн дэ Плянт», тянули кассис, который, как и всѣ ликеры, стоил до войны неприлично дешево, ѣли под кассис сладкія трубочки с кремом и спорили на политическія темы. В Тулузѣ, в тѣ времена, оказалось нѣсколько человѣк «витмеровцев». Кто помнит теперь эту исторію? Была такая частная гимназія Витмера и случился там какой-то инцидент в выпускном классѣ, инцидент революціоннаго характера. Министр народнаго

просвѣщенія Л. А. Кассо, одна из одіознѣйших фигур в глазах радикальных кругов столичнаго общества, если не ошибаюсь, не допустил молодых бунтарей до экзаменов на аттестат зрѣлости или воспретил им поступать в высшую школу. Тогда московскій богач, филантроп Шахов, в пику правительству и для вящаго ублаженія общественнаго мнѣнія, взял всѣх этих молодых людей на свое иждивеніе и рѣшил всѣм им, на свои средства, дать высшее образованіе за-границей. Часть витмеровцев, шаховских стипендіатов, оказалась в Тулузѣ.

Ребята это были как и всѣ, ничѣм не выдѣляясь, но матеріально, как стипендіаты милліонера, они были обставлены, конечно, лучше меня. Л. А. Кассо, как охранитель основ существовавшаго строя, был по своему прав, заподозрив их в неблагонадежности. Я их застал, прямо по пріѣздѣ их из Россіи, законченными бунтарями, сдѣлавшими из этого себѣ профессію, как видим не безвыгодную, т. к. без бунта вряд ли на них обратил бы свое вниманіе московскій милліонер Н. А. Шахов. Приди к Шахову такой витмеровец, не пострадай он от Кассо, может быть милліонер не помог бы ему получить и мѣсто репетитора, не то что за-границу его отправить, в университет, с карманными деньгами не то в 75, не то в 100 рублей в мѣсяц. Я жил на 50 цѣлковых, переводившихся отцом из Иркутска. Составляли эти 50 руб. на царскій курс 133 франка 30 сантимов и, принимая во вниманіе, что за комнату свою, довольно просторную, с огромной кроватью под пыльным балдахином, на которой наша русская

простыня едва прикрывала середину, и с двумя дверьми-балконами, я платил, на рю Элліо, ном. 24, всего девять франков в мѣсяц без стола, а за обѣд, в милом, хотя и скромном ресторанчикѣ (три блюда), тринадцать франков; билет в «синема» стоил «пур л-этюдьян» в тѣ времена двадцать пять сантимов — можно было хорошо жить и даже можно было ликеры пить в Тулузѣ. Один из витмеровцев когда, как-то, лѣтним вечером, мы были «под шафэ», задал мнѣ вопрос: «А вы, товарищ, в какой партіи?» Я понял, что по его твердо-каменному убѣжденію я, русскій студент за границей, в императорскій період Россіи, не могу не быть в той или иной соціалистической партіи. Из духа противорѣчія этому моральному насилію над моей свободой или озорства ради, я ему отвѣтил: «Я — спортсмен...» Он был сильно навеселѣ, он вообще любил коноводить, он не допускал поэтому умаленія своего престижа перед другими, болѣе кроткими. Он выхватил из бокового кармана браунинг и сказал запальчиво: «Я член боевой организаціи партіи соціалистов-революціонеров и я не допускаю в этом вопросѣ глупых шуток! Или вы к нам присоединитесь, или я вас уложу на мѣстѣ...» Но это было уже черезчур. На мальчишку набросились другіе мальчишки. Револьвер у него отняли. В трезвом видѣ он меня ни в партію, ни в боевую организацію не тянул и я, вообще, сомнѣваюсь, был ли он настоящим эс-эром, тѣм болѣе, террористом. Но если к партіям я не примыкал, живая бок о бок с так называемой «царской эмиграціей» в Тулузѣ, то членскій взнос свой в комитет имени Вѣры Фиг-

нер, в пользу, кажется, политических заключенных, вносил аккуратно. Без этого было нельзя! Без «фонда Вѣры Фигнер» нельзя было чувствовать себя свободно в русской библіотекѣ, которая помѣщалась в задней комнатѣ какого то мрачно просторнаго бистро, (тогда это слово было, впрочем, не в ходу у нас), если не измѣняет память на Фобур Морсо. Послѣ ленских разстрѣлов я стал даже persona grata, потому что прибыв в Тулузу из Иркутска я знал не только по именам, но и в лицо знал прокурора судебной палаты Е. П. Нимандера, про котораго потом говорили, что он был чуть ли не секретарем у Троцкаго, знал тов. прокурора Преображенскаго, а губернатора Ф. А. Бантыша знал особенно хорошо, так как дружил с его сыном Сашей (но эту дружбу приходилось, конечно, тщательно скрывать от моих новых тулузских знакомых из русской библіотеки имени «Лэон Тольстой», гдѣ производился сбор на Вѣру Фигнер, и гдѣ собирались русскіе революціонеры разных толков и молодежь из университета, тянувшаяся к своим, хотя бы называли они себя эс-эрами или эс-деками). Но о витмеровцах у меня сохранилось опредѣленное впечатлѣніе, что не Шахов был прав, а Кассо. Кстати, о Кассо. Старшим поколѣніям памятно, как его травила наша либеральная печать. Даже смерть его точно нарочно была придумана судьбою для вящаго восторга либералов (писали или говорили, что он умер в ванной или еще гдѣ-то похуже у француженки или у свѣтской дамы, с которой жил). А, между тѣм, этот одіозный человѣк был, говорят, замѣчательным ученым и в завѣщаніи

распорядился, чтобы на его могилѣ не было никаких титулов и званій (он имѣл и придворный чин), а только просто: «Д-р Кассо». Что же касается до «комитета Вѣры Фигнер», то тот франк, который я платил ежемѣсячно ради того, чтобы ладить с тѣми сородичами, которые тогда представляли русскую колонію Тулузы, то всякій раз, при возвращеніи в Россію, на пограничной станціи Александрово, мнѣ казалось, что жандармы знают, что я встрѣчаюсь в Тулузѣ с революціонерами и даже дѣлаю взнос Вѣрѣ Фигнер и меня как будто даже непріятно поразило, что жандарм при первом возвращеніи из Франціи в Россію, равнодушно вернул мнѣ паспорт, даже не взглянув на «опаснаго человѣка». Я знал, однако, и в Тулузѣ, что революціонная работа идет. Что г.г. эмигранты о чем-то часто совѣщаются. Что-то печатают, что-то нелегально отправляют в Россію. Многіе из них жили с семьями впроголодь, но напряженной работы своей не прекращали. Они всегда были заняты, у них у многих не хватало времени научиться хоть как нибудь объясняться по французски, живя годами во Франціи, но положеніе дѣл в Россіи они знали отлично, досканально, за всѣм напряженно слѣдили, когда обсуждались разстрѣлы на Ленѣ, я, человѣк из Иркутска, поражался, как полно, как точно, как «здорово» они были всѣ информированы. А когда мы, иногда, собирались отдохнуть, мы пѣли, кромѣ революціонных, простыя русскія пѣсни. Революціонныя, я всегда терпѣть не мог.

Теперь думается, неужели нельзя было использовать как нибудь и этих людей, совсѣм не боль-

шевиков, использовать их для Россіи, во имя ея національнаго дѣла. Неужели ничего нельзя было сдѣлать, чтобы милліонеры Шаховы не считали гражданским долгом своим поддерживать бунтарей?

Розанов это отлично чувствовал. У него, в «Уединенном», есть такія строки: «Конечно не использовать такую кипучую энергію, как Чернышевскаго, для государственнаго строительства — было преступленіем, граничащим со злодѣяніем. К Чернышевскому я всегда прикидывал не тѣ мѣрки: мыслителя, писателя... даже политика. Тут вездѣ он ничего особеннаго собою не представляет, а иногда представляет смѣшное и претенціозное. Не в этом дѣло: но в том, что с самаго Петра (1-го) мы не наблюдаем еще натуры, у которой каждый час бы дышал, каждая минута жила, и каждый шаг обвѣян «заботой об отечествѣ». Всѣ его «иностранныя книжки» — были чепуха; реформа «Политической экономіи» Милля — кропанье храбраго семинариста. Всю эту галиматью ему можно было и слѣдовало простить; и воспользоваться не головой, а крыльями и ногами, которыя были вполнѣ удивительны, не в уровень ни с какими; или, точнѣе, такими «ногами» обладал еще только кипучій, не умѣвшій остановиться Петр. Каким образом наш вялый, безжизненный, не знающій гдѣ найти «энергіи» и «работников», государственный механизм не воспользовался этой «паровой машиной» или вѣрнѣе «электрическим двигателем» — непостижимо. Что такое всѣ Аксаковы, Ю. Самарин, и Хомяков или «знаменитый» Мордвинов против него, как

дѣятеля, т. е. как «возможнаго дѣятеля», который зарыт был гдѣ-то в снѣгах Вилюйска. Но тут мы должны пенять и на него: каким образом, чувствуя в груди такой запас энергіи, было, в цѣлях прорваться к дѣлу, не расцѣловать ручки всѣм генералам, и вообще цѣловать «кого угодно в плечико» лишь бы дали помочь народу, подпустили к народу, дали бы «департамент». Показав хорошую «трех-хвостку» его коммунальным и соціал-демократическом идеям, благословив лично его жить хоть с полсотнею курсисток и даже подавиться самою Цебриковой,—я бы тѣм не менѣе как лицо и энергію поставил его не только во главѣ министерства, но во главѣ системы министерств, дав роль Сперанскаго и «незыблемость» Аракчеева... Такія лица рождаются вѣками, и бросить его в снѣг и глушь, в ели и болото...это.. это... чорт знает что такое. Уже читая его слог (я читал о Лессингѣ, т. е. начало) прямо чувствуешь: никогда не устанет, никогда не угомонится; мыслей—чуть-чуть, пожеланій—пук молній. Именно «перуны» в душѣ. Теперь (переписка с женой и отношенія к Добролюбову), все это объяснилось: он был духовный, спиритуалистическій «Ѕ», ну,—а такіе орлы крыльев не складывают, а летят и летят до убоя, до смерти или побѣды. Не знаю его опытность, да это и не важно. В сущности он был как государственный дѣятель (общественно-государственный) выше и Сперанскаго, и кого либо из «екатерининских орлов», и бравурнаго Пестеля, и нелѣпаго Бакунина, и тщеславнаго Герцена. Он был дѣйствительно соло. Нелѣпое по-

ложеніе полнаго практическаго безсилія выбросило его в литературу, публицистику, философствующіе оттѣнки, и даже в беллетристику: гдѣ, не имѣя никакого собственнаго к этому призванія (тишина, созерцательность), он переломал всѣ стулья, разбил столы, испачкал жилыя удобныя комнаты, и вообще, совершил «нигилизм» — и ничего иного совершить не мог... Это—Дизраэли, котораго так и не допустили бы пойти дальше «романиста», или Бисмарк, котораго за дуэли со студентами обрекли бы на всю жизнь драться на рапирах и «запретили куда-нибудь принимать на службу». Чорт знает что: рок, судьба, и не столько его, сколько Россіи.

«Но и он же: не сумѣл «сжать в кулак» своего нигилизма и семинарщины. Для народа. Для безкоровных, безлошадных мужиков. Поразительно: вѣдь это прямой путь до Цусимы. Еще поразительнѣе, что с выходом его в практику—мы не имѣли бы и теоретическаго нигилизма. В одной этой дѣйствительно замѣчательной біографіи мы подошли к Древу Жизни: но взяли да и срубили его... Срубили, «чтобы ободрать на лапти Обломову».

Теперь, в 1935 г., мы можем сказать, что это был не только «прямой путь к Цусимѣ», но и прямой путь к февралю 1917 года и к ленинскому Октябрю, со всѣми вытекающими из «Октября» послѣдствіями.

V

Томскій Императорскій университет. Факультеты медицинскій и юридическій. Году в шестнадца-

том у нас открываются еще два факультета: историко-филологическій и физико-математическій, но я не на них обучался. С медицинскаго меня «увел» на юридическій проф. Н. Я. Новомбергскій, бывшій тогда деканом. Я был товарищем предсѣдателя Юридическаго общества, при предсѣдателѣ деканѣ, и, кромѣ того, чтобы дать мнѣ заработать, проф. Новомбергскій устроил меня преподавателем в Третью женскую гимназію. Преподаватель в 22 года!

Мнѣ, послѣ Европы и столиц, Томскій университет показался скромным. Гораздо больше своим внѣшним видом импонировал Технологическій институт, который был расположен выше, на горкѣ, в котором корридоры были огромными, широкими и высокими, а главное, поражали окна—размѣром, как добрыя ворота (такое осталось воспоминаніе). Нравились чертежныя, особенно столы в них, с ярко голубой бумагой, на кнопках, и глянцевитою калькой. Эти электрическія лампы со стандартными, дѣловыми абажурами, что спущены с потолка прямо над склоненной головою студента, а особенно меня радовала возможность бывать в буфетѣ «Техноложки» (этакое гнусное слово, как и прочія, ему подобныя: «анатомка», «столовка», «зубодраловка»)—послѣднее о барышнях с зубоврачебных курсов, почему то всегда хорошеньких, конечно, бѣлозубых, и гораздо кокетливѣе одѣвавшихся, чѣм «наши» курсистки). Я жил в одной комнатѣ, у знакомых, с технологом, с товарищем дѣтства и поэтому «имѣл право» бывать и в Технологическом Институтѣ.

От нашего университета у меня сохраняется

отчетливое воспоминаніе о длиннѣйшем, дѣйствительно необычайно длинном, узком, довольно низком, мрачноватом корридорѣ и об отдѣльном, гораздо болѣе новой стройки, зданіи библіотеки, гдѣ все было так культурно, так не по-сибирски строго и чинно, так далеко от типичнаго студенческаго, провинціальнаго быта с его обязательными засѣданіями землячеств по убогим квартирам, с вечеринками, на которых доминировала балалайка, с «кафе» (через «е») Фартоцкаго», гдѣ за дешевку, ѣли—глотали, с особым причмоком, обжигающіе пельмени, и пили водку. При библіотекѣ был большой и новый зал, в котором мы устраивали диспуты, в котором гремѣли, потом, в революціонные первые мѣсяцы, пылкія рѣчи, и гдѣ, далѣе, засѣдала в 1918 году Сибирская Областная Дума, тотчас прозванная справа, а потом и с крайняго «лѣва»—Сиболдумой. В библіотекѣ, с ея темно-зелеными металлическими полками, с карточной системой, с ея тишиной и солнечностью, я словно преображался, я отдыхал, я был почтительно настроен и благоговѣл. Но, за предѣлами ея.. Опять вспоминается вѣщее слово Розанова об университетѣ в Томскѣ, писанное лѣт за двадцать до эпохи, которую я здѣсь вспоминаю, но такое пронзительно точное, угадывавшее суть и сущность, провиденціальное.

«Только немногіе старые профессора и спасли в нас идеализм к наукѣ. Это были послѣдніе эпигоны людей 40-х годов, каких мы видѣли, которых мы никогда не забудем. «По моему, гдѣ профессор—там и университет», сказал один из них (Буслаев).

«Да, конечно, а не большое кирпичное зданіе, выстроив которое в Томскѣ и повѣсив на него вывѣску, еще без профессоров, без студентов, всѣ почему-то называли: «Сибирскій университет».

«Странныя понятія об университетѣ, о святилищѣ наук, гдѣ онѣ преподаются, и которое изготовляется печниками на кирпичных заводах. Все извратилось и померкло в наше тусклое, искаженное время. В «университетѣ» университету еще нужно зародиться»; завестись чудакам-профессорам, а всей студенческой братіи, слюбиться, сжиться, порости мохом, кого-нибудь похоронить и справить тризну — и тогда, тогда это будет университет! Удостоиться стать им через почетный труд, через доблестную жизнь, через исторію—можно; выстроиться университету—нельзя («Литературные очерки» В. В. Розанова. СПБ. 1899).

Филологическій факультет у меня на глазах зарождался в Томскѣ именно этим, предуказанным Розановым, путем. Пріѣхавшим профессорам и доцентам «своих» аудиторій не дали. Они читали в аудиторіях юридическаго и, даже, медицинскаго факультетов. Спеціально для филологов была, из под чего то, «освобождена» мрачная аудиторія в нижнем этажѣ, около «раздѣвалок». Она была низкой, она была полутемной, в ней сидѣть приходилось на партах, но читали в ней с рѣдким подъемом: по психолгіи С. І. Гессен (самый талантливый из вновь прибывших) и А. А. Гвоздев о министрэлях и трубадурах и комедіи del arte. На филологическій факультет я ходил с восхищеніем. Это, подсознательно, была именно моя стихія. И

ходил сюда без всяких практических соображенiй. Как, впрочем, и другiе многiе. В частности, вольнослушатели. Был даже какой-то среди них профессор Технологическаго института, который был одѣт в виц-мундир с петличками дѣйствительнаго статскаго совѣтника, у котораго голова была совсѣм сѣдая и который, с трогательным старанiем, записывал философскiя импровизацiи молодого, но уже нацѣло лысаго, напряженнаго и вдохновеннаго, внѣшне маленькаго, как воробышек, Сергѣя Iосифовича Гессена.

Я ничего плохого не хочу сказать об юридическом факультетѣ, «моем» собственном и тѣм менѣе собираюсь как либо, хоть словом, критиковать факультет медицинскiй, завоевавшiй по праву великую себѣ славу по Сибири и даже в Россiи европейской. Там, при мнѣ, были такiе ученые врачеватели, как Грамматикати или М. Г. Курлов, физiолог проф. Кулябко и многiе другiе. Но все таки, «из пѣсни слова не выкинешь», юридическiй факультет в Томскѣ дал Россiи пресловутаго М. А. Рейснера и, кромѣ Рейснера, на нем было много либеральничавших профессоров и замѣтно грѣшил этим мой друг и учитель Н. Я. Новомбергскiй. Мы даже «бунтик» там небольшой устроили против профессоров Мокринскаго, Прокошева, Тельберга, Солнцева и еще кого то, кажется, Н. Ив. Кравченко. Бунтовили «на академической почвѣ» студенты выпускного курса. Мы, с других курсов, им помогали, «поддяр;живали». На нашей, студенческаго большинства, сторонѣ были и декан П. И. Лященко, вскорѣ послѣ

этого уѣхавшій из Томска, и новый декан Новомбергскій. Бунт и зародился, собственно, в нѣдрах совѣта факультета, среди профессуры. Отсюда он был переброшен в студенческую массу, гдѣ разумѣется охотно был поддержан. Из Петербурга пріѣзжал от министерства мирить и успокаивать Палечек. Был какой-то «академическій суд» под предсѣдательством «нейтральнаго лица» проф. Боборыкова, директора Технологическаго Института. И я там, как представитель совѣта старост, принимал тоже какое-то участіе. Но, всякій раз, встрѣчаясь теперь лѣтом, на отдыхѣ, в Циндао, с почтенным, заслуженным и так мною любимым и уважаемым проф. Г. Г. Тельбергом (который, все таки, провалил меня на первом же зачетѣ по исторіи русскаго права, перед всей аудиторіей) я с непріятным осадком думаю теперь, как мы тогда были болѣзненно-легко возбудимы и как легко было нас увлечь на что угодно.

Подпольная работа велась. И велась весьма энергично. Она проступала на переферіи в землячествах, которыя, хотя и обслуживали вполнѣ легальныя нужды, но, одновременно, какими то таинственными путями, то через предсѣдателей, то через секретарей, были связаны или с рабочими профессіональными союзами, или с «комитетами» партій, или, с той или иной, эманціей столичных революціонных центров. Побывав в гимназіях Омской, Екатеринбургской, Тобольской, Иркутской и в Тюмени, в реальном училищѣ, я, естественно, имѣл пріятелей во всѣх землячествах, но, почему то, особенно часто появлялся я в средѣ харбинцев (они удобнѣе жили и меньше были привязаны

к политикѣ) —словно мнѣ еще в университетѣ «на роду было писано» попасть в Харбин и прожить там цѣлых 4 с половиною года. Итак, о подпольной работѣ. Придирались подпольщики к любому поводу, чтобы показать «кому слѣдует», что силы протеста не дремлят. Врывается этакій лѣвый товарищ в мирную аудиторію, как только ушел из нея проф. П. П. Орлов (неорганическая химія).— «Товарищи, завтра празднуем, объявляется однодневная забастовка». Невольно подымаюсь со скамьи (скамьи идут все выше к потолку, амфитеатром) и спрашиваю: «По какому поводу празднуем?» —«Развѣ вы не знаете, —отвѣчает герольд,—годовщина смерти Толстого!». — «Хорошенькое празднество! И, затѣм, почему, товарищ, в день годовщины смерти надо бастовать?» Мои слова покрываются гулом протестов, кто-то свистит в мой адрес. Всѣм извѣстно, что объявившій о забастовкѣ выполняет директиву «старостата». Появившись в аудиторіи, через секунду послѣ ухода профессора, и сдѣлав свое оповѣщеніе, он рисковал быть «пойманным» педелем или выданным провокатором из среды студентов и тогда для него начались бы непріятности, сначала с секретарем по студенческим дѣлам, потом с самим ректором и т. д., вплоть до полиціи. Так что мой «неумѣстный» вопрос и то, что я смѣльчака задержал в аудиторіи, не могли встрѣтить сочувствія «массы». Но, все таки, почему мы обязаны бастовать в годовщину смерти Л. Н. Толстого? И кто мог нам приказывать? И в чем вообще сила и власть «старостата», который, до февральской революціи тоже был на нелегальном положеніи, хотя университетская

администрація, не говоря уже о лѣвой профессурѣ, отлично знали, что «старостат» существует.

Или, такой примѣр. Пріѣзжает, уже в годы войны, наш проректор проф. В. Н. Саввин, с фронта (он был хирургом). И читает, в студенческом медицинском Пироговском обществѣ, доклад о раненіях от тяжелых снарядов. Тема специальная, доклад дѣлается в главной аудиторіи Анатомическаго института. Послѣ доклада, когда начинаются для медиков пренія, слово просит технолог Закарая (пламенный оратор, чахоточный, из рѣдкой разновидности большевиков-идеалистов) и предлагает поставить вопрос шире: «отчего всѣ эти раненія и ужас и кто начал «имперіалистическую бойню?...» Общее смятеніе, смущен и проректор, всѣ стараются замять эту исторію, не выпустить из стѣн аудиторіи.

Я слушал, помню, нашего декана, экономиста, проф. П. И. Лященко, у котораго очень старательно работал не только по политической экономіи, но и по статистикѣ и был поражен, когда он посвятил одну из своих лекцій «причинам возникновенія «европейской войны» (ее тогда не называли — великой) и, ни словом не обмолвившись ни о стихіи исторических коллизій между народами, ни о пылающих патріотических чувствах, когда «ружья сами начинают стрѣлять»— очень плоско и весьма по-марксистки ортодоксально, истолковывал войну, как результат не то капиталистическаго, не то даже колоніальнаго соперничества держав. Видимо, ему никогда и в голову не приходило, что кромѣ русско-японской войны, была освободительная война Россіи с Турціей, были крестовые походы, что,

вообще, в войнах есть не только свой пафос, но и своя мистика, элемент высокаго идеализма, который никак не уложишь в прокрустово ложе историческаго матеріализма. И все это дѣлалось, так сказать, легально, в стѣнах Императорскаго университета, в г о д ы в о й н ы, когда стояла на картѣ самая судьба Россіи, как національного цѣлаго, как великой имперіи, у которой только потому лишь одному, что она была великой, врагов было (и должно было быть!) больше, чѣм друзей.

К этой же эпохѣ принадлежит пріѣзд к нам, в Томск, товарища предсѣдателя Государственной Думы проф. Н. В. Некрасова, который играл столь замѣтную, хотя к мало похвальную роль в рядах Временнаго правительства. В Томск Некрасов пріѣхал «к себѣ домой». Здѣсь он был раньше профессором, мостовиком. и при том талантливым профессором. Здѣсь началась и политическая его карьера, разгорѣвшись столь ярким бенгальским свѣтом. Здѣсь он «отбил» у кого то из своих коллег жену. Словом, Некрасова в Томскѣ хорошо знали и массы студенчества, конечно, его, что называется, «носили на руках». Он был удачлив в жизни, он был либерален, он за что-то даже, немножко, пострадал от «ненавистнаго начальства», он дѣлал всероссійскую карьеру, вокруг него был налет романтики (отбил чужую жену), он был высок ростом, представителен, рѣчист—можно ли удивляться, что его пріѣзд в 1916 году явился для провинціальнаго Томска событіем. И вот, помню, как сейчас, вмѣстительный зал Общественнаго собранія и столько народа в нем, сколько этот зал мог вмѣстить. Будучи не только, как депутат, неприкосно-

венной для жандармов личностью, но, будучи, кромѣ того, товарищем предсѣдателя Государственной Думы (а всѣм нам памятно, чѣм была в глазах широкого общества, в 1916 году, Госуд. Дума!) он, избрав темой «Исторію прогрессивнаго блока», говорил обо всем, о чем говорить хотѣл...

Я не был согласен с тѣм положеніем вещей, которое отчетливо опредѣлилось в Россіи к 16-му году. Я был безоговорочным и страстным «оборонцем», простите за это дикое слово. Я, вообще, себѣ не представлял, как можно не желать, чтобы Россія побѣдила. Я совершенно искренне был убѣжден в тѣ годы, что виной всему была Германія, пангерманизм и даже мегаломанія кайзера Вильгельма II, что нас заставили воевать. И чѣм больше я был, лично, настроен против Распутина и вообще против всего, что с Распутиным было связано, тѣм больше я хотѣл, чтобы война была «скорѣе выиграна» и тогда, в ликованіи побѣды, сама собою, на солнцѣ національных торжеств, должна была «подсохнуть» вся распутинская грязь. О Распутинѣ я кое что знал больше других, так как жил нѣкогда в Тобольскѣ, проѣзжал с отцом, в кибиткѣ, село Покровское, знал А. Н. Тройницкаго, губернатора Ордовскаго-Танаевскаго, ряд других администраторов и выгораживавших «старца» и ломавших на нем свою шею. И, все-таки, Распутин-Распутиным, но война—войною и раз начав войну Россія должна была ее с честью закончить.

И, вот, то, что я, студент, услышал, в 1916 году от товарища предсѣдателя Государственной Думы было и неожиданно, и страшно, и нелѣпо. Человѣк, с кафедры, бросал в зал зажженную пак-

лю. Человѣк открыто, а, по условіям военнаго времени, и преступно, революціонизировал толпу. Казалось, что он вел всѣх к кратеру огнедышащаго вулкана и мы уже заглядывали в этот кратер, видѣли бурлящую лаву, которая, вот-вот, взметнется силой адских подземных сил кверху и низринется, испепеляя все на своем пути, на наши головы. Хорошо было Розанову разсуждать, теоретически, на досугах, и при том послѣ неудачной первой революціи, о том, что «все таки революція права». Но тут, в грозѣ и бурѣ великой, непосильной для нас войны, своими же руками рыть могилу Россіи—было от чего ужаснуться, как ужаснулся я на докладѣ проф. Н. В. Некрасова. А вот, кстати, для памяти, что в 1911 г. на тему о революціи, говорил В. В. Розанов:

«А голодные так голодны и все таки революція права. Но она права не идеологически, а как натиск, как воля, как отчаяніе! Я не святой и, может быть, хуже тебя: но я волк, голодный и ловкій; да и голод дал мнѣ храбрость, а ты тысячу лѣт —вол, и если когда то имѣл рога и копыта, чтобы убить меня, то теперь—стар, разслаблен, и вот я съѣм тебя. Революція и «старый строй»—это просто «дряхлость» и «еще крѣпкія силы». Но это не идея, ни в коем случаѣ не идея.

«Всѣ соціал-демократическія теоріи сводятся к тезису: «хочется мнѣ кушать». Что-же, тезис то вѣдь прав. Против него «сам Господь Бог ничего не скажет». «Кто дал мнѣ желудок—обязан дать и пищу». Космологія. Да. Но мечтатель отходит в сторону, потому что даже больше, чѣм пищу—он любит мечту свою. А в революціи—ничего для меч-

ты. И вот, может быть, что в ней — ничего для мечты, она не удастся. «Битой посуды будет много», «но новаго зданія не выстроится». Ибо строит тот один, кто способен к изнуряющей мечтѣ: строитель Микель-Анджело, Леонардо да Винчи: но революція всѣм им «покажет прозаическій кукиш» и задушит еще в младенчествѣ, лѣт 11-13, когда у них вдруг окажется «свое на душѣ».

«А, вы—гордецы, не хотите с нами смѣшиваться, дѣлиться, откровенничать .. Имѣете какую то свою душу, не общую душу .. Коллектив, давшій жизнь родителям вашим и вам,— ибо без коллектива они и вы подохли бы с голоду—теперь берет свое назад. Умрите!»

* * *

«И «новое зданіе», с чертами ослинаго в себѣ, повалится в третьем-четвертом поколѣніи» (Уединенное», Париж. 1928. Стр. 56-7).

VI

Хотя революцію, вѣрнѣе, переворот (и, при том, больше—дворцовый) ожидали, но в Томск революція пришла, все-таки, неожиданно. Был конец февраля, приходилось усиленно заниматься к экзаменам. Стало извѣстно, что слѣдующій внѣ срока призыв, который и меня захватывал, предопредѣлен, и я почему-то рѣшил добиваться быть отправленным на Кавказскій фронт, может быть потому, что никогда (и по сей день) не бывал в Россіи южнѣе Тулы.

Два или три дня почему-то вдруг порѣдѣли свѣдѣнія из Петербурга. Какія-то ничего не зна-

чащія телеграммы вермишельнаго характера приходили, «проскакивали», но дѣла не сообщалось. Это нас интриговало, но не очень. Все таки «наперед» уже строились словно, в подсознаніи, какія то новыя, пока совсѣм неясныя, предположенія на счет того, что если «что нибудь» случится, то так-то повернется судьба. Но в Сибири, даже в двадцатых числах февраля 1917 года, все казалось в административных всероссійских скрѣпах так прочно, что мысль, сразу-же, осаживалась;—безпорядки могут быть, но они могут быть подавлены. Мы знали или чувствовали, что в Петроградѣ (официціальное наименованіе, неофиціальное по старому — Петербург) «Протопопов готовится».

Я помню зимній, сѣрый, слегка буранный, с порошею, сибирскій день числа 27 или 28 февраля, когда я шел из университета на Елань и встрѣтил Костю Зерова, из Читы, который потом играл в «университетской революціи» замѣтную роль и который был и раньше каким-то очень лѣвым, кажется, пламенным эс-эром — несмотря на свою милую желторотость. Он мнѣ передал слух, что в Петроградѣ «безпорядки». Но все было так тихо, так мирно, так буднично и провинціально кругом нас, что вѣсть эта от Зерова не матеріализовалась ни во что конкретное в моем сознаніи. В тот же день, впрочем, с уже нароставшей непонятно почему в душѣ тревогою, я пошел на главную улицу (представьте, вывѣтрилось ея названіе) и дошел до Милліонной (или «Милліонная» была главною?). Был вечер, часов 7 или 8. И на главной улицѣ горѣли огни. Туда, вниз, к магазину «Макушина и Посохина», гдѣ печаталась весьма и даже очень весь-

ма, радикальная «Сибирская Жизнь», несмотря на то, что в издательствѣ ея принимали участіе солидные коммерсанты (торговали книгами и вели большую просвѣтительную работу, чѣм гордились). Толпа стала как-то необычно густѣть и я запомнил, что в ней было больше, чѣм всегда солдат, людей «рабочаго » вида, шустрой молодежи, что всегда вертится в Россіи в вестибюлях кинематографов, гимназисты и, конечно, студенчество, барышни. Было какое-то еще неясное возбужденіе. Проползали видимо и в их головах первыя вѣсти о том, что «что-то» случилось; рѣшительно подалось, зловѣще затрещало.

Точно-же мы «все» узнали поразительно поздно — 1 марта. Тут, сразу, на наши головы повалил хлопьями, как тяжелый мокрый снѣг, поток сенсацій. Сначало пришло отреченіе Государя, потом, чуть не через два часа, в экстренных выпусках, сообщеніе о том, что отречется и великій князь Михаил Александрович, на котораго у меня, лично, «была надежда» и, наконец, эта страшная рѣчь П. Н. Милюкова, первая его рѣчь послѣ переворота, сказанная если не ошибаюсь, в кулуарах, Государственной Думы, гдѣ он бросил слова о «старом деспотѣ». Я всегда был высокаго мнѣнія о Милюковѣ. И до сих пор о нем, сейчас, когда пишутся эти строки, глубоком старцѣ, я сохраняю высокое мнѣніе, с ним считаюсь и знаю, что он был и останется самым извѣстным в Европѣ представителем русскаго образованнаго общества и признанным авторитетом, как государственный дѣятель, и историк, и публицист и все такое прочее, вообще, «большой человѣк». Я восхищался, преж-

де, его гражданским мужеством, на кафедрѣ Государственной Думы. Мнѣ импонировал его европеизм. Но эти ужасныя слова, брошенныя в гущу черни, ради ея потѣхи! Слова так дико расходившіяся и тогда с фактами-«старый деспот».

Признаюсь открыто, что когда телеграмма-летучка о переворотѣ была внесена кѣм-то, стремглав, в нашу студенческую, убогую квартирку, я ее схватил из чьих-то рук и сразу как бы «понял глазами», не читая. Молнія прорѣзала сознаніе (по старинной метафорѣ), что распутиновщинѣ и Протопопову положен конец; я был в восторгѣ, я захлебнулся от радости.

Ничто для меня, в эту минуту, не стояло больше между Россіей и побѣдой!

Самый же факт именно отреченія Государя я встрѣтил уже с меньшим воодушевленіем. По мнѣ, говорю это из глубин предѣльной искренности, было бы достаточно, так думалось в тот момент, того, что всѣ ожидали, того, что нам из Думы столько раз обѣщали—отвѣтственнаго министерства. Князь Львов, отчего не князь Львов? Было бы прекрасно даже, если бы В. Н. Коковцов, лишь бы «отвѣтственное» правительство перед Думою. Я знал русскую исторію, чувствовал ея стихійный ход, знал, угадывал, чувствовал своеобразіе этой стихіи, сам был частицею русской народной массы и я сразу понял, что отреченіе, это уже страшно, Государь это стержень, который вынимают из государства, из арміи, в такой историческій, в такой отвѣтственный момент на рѣшающем этапѣ войны, побѣдив в которой Россія должна была буйно зацвѣсти и обновиться. Надежда была

только еще на в. к. Михаила Александровича, раз Государь отказался и за Наслѣдника. Но вот должен был отказаться почему то и в. к. Михаил Александрович, «вплоть до рѣшенія Учредительным Собраніем». Одну деталь пропустил. Ход моих мыслей о возглавленіи Россіи шел в эти минуты и часы так:

— Если не Государь, то Наслѣдник. Если не Наслѣдник, то в. к. Михаил Александрович. Потом (вѣдь всѣ событія мелькали одно за другим) была еще одна послѣдняя зацѣпка перед черной ямой—в. к. Николай Николаевич. Если бы он объявил свою власть!!!

***

Но как же, все таки, это все произошло? Пора дать точную картину, в назиданіе поколѣніям, идущим нам на смѣну.

Никто лучше В. В. Шульгина не дал описанія, как «все это произошло», там, в смятѣнном Петроградѣ, столицѣ Россіи. И никто не мог дать, потому что Шульгин не только наблюдал из перваго ряда, даже из литерной ложи, нѣт, лучше сказать, даже, из царской ложи, но и сам участвовал в важнѣйших событіях этих первых дней начала революціи и конца стараго режима.

Его книгу «Дни», изданную в 1925 году М. А. Суворином, в Бѣлградѣ, не обойдет без самаго тщательнаго изученія ни один будущій россійскій Ленотр.

На стр. 139 он говорит: «они—революціонеры, не были готовы, но она,—революція была готова. Ибо революція только наполовину создается из ре-

волюціонного напора революціонеров. Другая ея половина, а может быть три четверти—состоит в ощущеніи властью своего собственнаго безсилія!»

Но и Шульгин признается (стр. 162): «Я не знаю, как это случилось!... Я не могу припомнить!.. Я помню уже то мгновеніе, когда черно-сѣрая гуща, прессуясь в дверях, непрерывным врывающимся потоком, затопляла Думу...

«Солдаты, рабочіе, студенты, интеллигенты, просто люди .. Живым, вязким, человѣческим повидлом они залили растерянный Таврическій Дворец, залѣпили зал за залом, комнату за комнатой, помѣщеніе за помѣщеніем ..

«С перваго же мгновенія этого потока,—отвращеніе залило мою душу, и с тѣх пор оно не оставляло меня. Безконечная, неисчерпаемая струя человѣческаго водоворота бросала в Думу все новыя и новыя лица .. Но сколько их не было — у всѣх было одно лицо: гнусно-животно тупое и гнусно дьявольски-злобное .. Боже, как это было гадко! Так гадко, что, стиснув зубы, я чувствовал в себѣ одно тоскующее, безсильное и потому еще болѣе злобное бѣшенство... Пулеметов!

«Пулеметов, — вот чего мнѣ хотѣлось. Ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпѣ и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлоги вырвавшагося на свободу страшнаго звѣря... Увы—это звѣрь был ..Его Величество русскій народ!... То, чего мы так боялись, чего во что бы то ни стало хотѣли избѣжать, уже было фактом. Революція началась.

«С этой минуты Государственная Дума, собственно говоря, перестала существовать. Перестала

существовать даже физически, если так можно выразиться. Ибо эта ужасная человѣческая эссенція, эта вѣчно снующая, все заливающая до послѣдняго угла толпа солдат, рабочих и всякаго сброда— заняла всѣ помѣщенія, всѣ залы, всѣ комнаты, не оставляя возможности не только работать, но просто передвигаться... Своим безсмысленным присутствіем, не прерывным гамом тысяч людей она парализовала бы нас, даже в том случаѣ, если мы способны были что нибудь дѣлать.. Вѣдь и найти друг друга в этом морѣ людей было почти невозможно ..

«Величайшей ошибкой, непоправимой глупостью всѣх нас было то, что мы не обезпечили себѣ никакой реальной силы. Если бы у нас был хоть один полк, на который мы могли бы твердо опереться и один рѣшительный генерал—дѣло могло бы обернуться иначе. Но у нас ни полка, ни генерала не было .. И, болѣе того,—не могло быть... В то время в Петроградѣ «вѣрной» воинской части уже или еще не существовало» (стр. 167.)

27 февраля ночью, в Думѣ, Шульгин, согласно его собственнаго свидѣтельства, на стр. 182, рѣшал вопрос о верховной власти так:

«Может Он царствовать? Может ли? О, как это узнать, как? Нѣт...не может... Все это, что было... Кто станет за Него? У Него—никого, никого... Распутин всѣх съѣл, всѣх друзей, всѣ чувства... нѣт больше вѣрноподданных...есть скверно-подданные и открытые мятежники... послѣдніе пойдут против Него—первые спрячутся. Он один.»

Чтобы спасти жизнь Государя, Шульгин видѣл только один путь:

«Чтобы спасти...надо или разогнать эту сволочь (и нас вмѣстѣ с ними) залпами, или...Или надо отречься от Престола... Цѣной отреченія спасти жизнь Государю ..и спасти Монархію... Если подавить бунт можно, то и слава Богу. Это сдѣлают не только без нас, но и против нас .. Николай I повѣсил пять декабристов, но если Николай II разстрѣляет пятьдесят тысяч «февралистов», то это будет задешево куплено спасеніе Россіи. Это будет значить, что у нас есть Государь, что у нас есть власть... Но если не удастся? Если для этого ни полков, ни полковников не найдется? Тогда...тогда отреченіе...царствовать будет малолѣтній Царь... значит—Регент. Регент? Кто? Михаил Александрович? Да, кажется .. Потом Верховный Главнокомандующій... Ну, Великій Князь Николай Николаевич, конечно .. Затѣм .. Затѣм — Правительство .. Но кто? В сущности ..в сущности — некого... (184 стр.)

И, на стр. 195, Шульгин, один из главных участников первых дней революціи, должен был признать: «В концѣ концов, что мы могли сдѣлать? Трехсотлѣтняя власть вдруг обвалилась, и в ту же минуту тридцатитысячная толпа обрушилась на голову тѣх нѣскольких человѣк, которые могли что нибудь скомбинировать».

В записи дня 1-го марта, на стр. 216, он отмѣчает, какую роль сиграл «приказ № I». «Со всѣх сторон стали доходить слухи, что офицеров изгоняют, арестовывают .. Офицерство стало метаться. С каждым часом настроеніе ухудшалось. Это были рѣшающія минуты... Если бы можно было вооружить собравшихся в залѣ Арміи и

Флота офицеров, (их было до 2.000 Л. А.) а главное, если-бы можно было на них расчитывать, т. е. если бы это были люди, пережившіе все то, что они пережили впослѣдствіи, скажем, люди корниловскаго закала, если бы кто-нибудь понял значеніе военных училищ и, главное, если бы был человѣк калибра Петра I или Николая I — эта минута могла бы спасти все... Можно было раздавить бунт, ибо весь этот «революціонный народ» думал только об одном, — как бы не идти на фронт... Сражаться он бы не стал .. Надо было бы сказать ему, что Петроградскій гарнизон распускается по домам .. Надо было бы мѣрами исключительной жестокости привести солдат к повиновенію, выбросить весь сброд из Таврическаго дворца, возстановить обычный порядок жизни и поставить правительство не «довѣріем страны облеченное», а опирающееся на настоящую гвардію .. Да, на настоящую гвардію...

«Гвардіи у нас не было. Были гвардейскіе полки. Но чѣм они отличались от не-гвардейских? Тѣм, что гвардейскіе офицеры принадлежали к аристократическим фамиліям? Но аристократія далеко не всегда была опорой престолу .. Начиная с Іоанна Грознаго, и даже гораздо раньше, часть знати вела борьбу с монархіей. Особенно рѣзко это выразилось в выступленіи декабристов, но и вообще было так: знатное происхожденіе совершенно не обезпечивало «политической благонадежности». Стоит только посмотрѣть списки кадет и «примыкающих», чтобы понять, гдѣ была знать .. Но главное не в этом...

«Главное состояло в том, что давно уже было

утрачено, а может быть его никогда не было, утрачено истинное пониманіе, что такое гвардія... Гвардія должна быть «тѣлохранительницей верховной власти». Понимая это болѣе широко — гвардія должна быть тѣм кулаком, который принудит к повиновенію всякаго, не подчиняющагося власти.

«Достаточно-ли, чтобы такой корпус имѣл только одних офицеров, на которых можно положиться? Это нелѣпость... Развѣ офицеры могут что-нибудь сдѣлать во время солдатских бунтов? Опыт показал, что в гвардейских частях солдаты раньше чѣм в других бунтовались. Что же это за гвардія?

«Гвардія должна состоять из солдат, не менѣе офицеров настроенных гвардейски. Поэтому в гвардіи должны служить люди не по набору, а добровольно и за хорошее жалованіе. И при том это должны быть люди с извѣстной закваской—каждый персонально извѣстный, а не вербоваться по росту: кто выше всѣх ростом—тот гвардеец. Как будто преданность верховной власти есть функція роста: всѣ большіе— монархисты, а всѣ маленькіе —республиканцы.

«И при том нельзя пускать гвардію на войну... Пусть поклонники принципа: pereat patria, fiat justitia говорят, что угодно. Пусть сколько угодно возмущаются «сытыми, краснощекими гвардейцами», которые сидят в тылу, — пусть называют их бездѣльниками и трусами—на это не слѣдует обращать вниманія. Полиція тоже дородная и краснощекая, а посылать ее на войну нельзя. Одно из двух: или гвардія нужна или нѣт. Если не нужна, то ее вообще не должно быть, а если нужна, то

больше всего, нужнѣе всего она во время тяжелой войны, когда можно ожидать бунтов, революцій и всякой мерзости. Гвардія должна оставаться в полной неприкосновенности, и назначеніе ее не против врагов внѣшних, а против врагов внутренних .. Сражаться с врагом внѣшним можно до послѣдняго солдата арміи и до перваго солдата гвардіи .. Тогда она вступает в дѣйствія, одной рукой приводит в христіанскій вид парализованную пораженіем армію, другой — удерживает в границах повиновенія бунтующееся населеніе. Проигранная война всегда грозит революціей. Но революція неизмѣримо хуже проигранной войны.

«Представим себѣ, что в 1917 году мы бы имѣли нетронутую и совершенно надежную в политическом смыслѣ гвардію. Никакой революціи не произошло бы. Самое большое, что случилось бы — это отреченіе Императора Николая II. Затѣм, допустим, что разложившаяся армія бросила бы фронт. Новый Император или Регент заключил бы мир — пусть невыгодный, но что же дѣлать?... Затѣм, при помощи гвардіи, возстановил бы порядок повсюду, ибо мы отлично знаем, что взбунтовавшіеся войска не способны бороться с войсками, сохранившими дисциплину .. Пусть безпорядки продолжались бы год, два, три .. — все равно: власть, опирающаяся на твердую силу, восторжествовала бы тѣм болѣе, что с каждым днем анархія надоѣдала бы .. Итак, быть может, главный грѣх стараго режима был тот, что он не сумѣл создать настоящей гвардіи .. Пусть это будет наукой будущим властителям». (Стр. 217-220).

***

Шульгин, давая отвѣт на вопрос «как» произошла революція не отвѣчает до конца на другой, в высшей степени важный, вопрос, «почему» произошла революція или, вѣрнѣе, какія причины содѣйствовали тому, что вся мыслящая Россія так легко пріяла революцію, подчинилась ей, влилась сразу в поток этой стихіи.

— В спорѣ с А. Л. Казем-Беком, Ек. Кускова отмѣчает, что русская революція не была совершена «во имя марксизма».

«Истоки русской революціи, — ея зарожденіе, —уходят к таким далеким временам русской исторіи,—говорит Ек. Кускова,—когда еще не было на свѣтѣ самаго Маркса. Декабристы, Герцен, шестидесятники, народовольцы 70-80-х годов были также далеки от марксизма, как и Родзянко, возглавившій революціонный комитет Государственной Думы. Понятія не имѣли ни о каком Марксѣ ни солдаты на фронтѣ, в значительной мѣрѣ рѣшившіе судьбу революціи, ни крестьянство, ни даже обширные слои служилой интеллигенціи, тоже быстро присоединившіеся к революціи».

Вот на эти то «обширные», по словам Ек. Кусковой, слои русской интеллигенціи я и хочу обратить особо пристальное вниманіе. П. Сазонович недавно опубликовал в Парижѣ очень удачную, хотя излишне хлесткую, задористую статью на счет нашей радикальной интеллигенціи. Не со всѣми его построеніями можно согласиться, но в основных линіях мысли он, конечно, прав:

«Реформа Петра Великаго создала особое умо-

настроенiе и привела, между прочим, к возникновенiю характернаго типа «людей», единственное назначенiе которых заключалось в том, чтобы, выражаясь словами Достоевскаго, «представлять идеи» и «стоять перед отчизной воплощенной укоризной». Сначала эти люди, «представляющiе идею», укоряли отчизну одним своим европейским видом. Уже здѣсь мы видим зачатки презрѣнiя к народу и к нацiональной культурѣ, как к чему-то низшему, нестоющему.

«Русская культура выдѣляла людей духовнаго творчества и умственнаго труда. На поверхности реформы образовалась интеллигентская язва, поросла «радикальная плѣсень». Появились «франкофилы», «англоманы» — ничего общаго не имѣющiе ни с Россiей, ни с Францiей, ни с Англiей.

«Поистинѣ правы были культурнѣйшiе авторы «Вѣх» (1909 г.), утверждая, что только царское правительство защищает людей умственнаго труда, которым грозил погром от черни, руководимой радикал-интеллигентами. «Разсудочник интеллигент, —говорит о. П. Флоренскiй,—на словах любит весь мiр и все считает естественным, но на самом дѣлѣ он ненавидит весь мiр в его конкретной жизни и хотѣл бы уничтожить его, с тѣм, чтобы вмѣсто мiра поставить понятiя своего разсудка, т. е., в сущности, свое самоутверждающееся «я»; и гнушается он «естественным», ибо «естественное»—живое и потому конкретно и не вмѣстимо в понятiя, а интеллигент хочет всюду видѣть лишь искуственное, лишь формы и понятiя, а не жизнь ..»

«Отсюда ненависть радикал-интеллигенцiи к генiю и генiальности (особенно в области искусства)

и борьба их за искуственность против искусства. Вот основа «практицизма», узкаго и плоскаго «утилитаризма» революціонеров. Они «пребывали словно пыль, оторванная от земли, но не вознесенная на небо». Злое назначеніе радикальной интеллигенціи состояло в том, чтобы тщательно контролировать, цензуровать и фильтровать все, что шло в Россію извнѣ и производилось внутри ея. Всячески распространялось и внѣдрялось все разрушительное и разлагающее.

«Русское общество издавна и систематически питалось превратными и обезображенными представленіями во всѣх почти областях политики, искусства, философіи, богословія и литературы. Из Пушкина и Чадаева сдѣлали революціонеров, из Достоевскаго психолога, а из Гоголя обличителя-реалиста. Не кто другой, как Бѣлинскій объявил «паралич» пушкинскаго генія и смѣшивал с грязью Гоголя и Баратынскаго. Писарев пришел уже на готовое. Цѣлая плеяда первоклассных поэтов, писателей и мыслителей была ошельмова из радикальщиной. Баратынскій, Фет, Ап. Григорьев, Достоевскій, Случевскій, Лѣсков, Писемскій, Константин Леонтьев, Катков, Юркевич, Вл. Соловьев, Б. Н. Чичерин, Н. Федоров, Лопатин и др.»

Предоставляем слово В. В. Розанову, который дал уничтожающую характеристику радикальщины, пребывавшей до войны за-границей. Этот замѣчательный фрагмент напечатан в журналѣ «Богословскій Вѣстник» за март 1913 года и оставался совершенно незамѣченным в то время.

«Что же нам дѣлать с этими дѣтьми, проклявшими родную землю, проклинавшими ее все вре-

мя, пока они жили в Россіи, проклинавшими устно, проклинавшими и печатно, звавшими ее не« отечеством», но «клоповником», «черным позором человѣчества», «тюрьмою» народов, ее населяющих и ей подвластных? Что вообще дѣлать матери с сынами, вонзающими в грудь ей нож? Ибо таков смысл революціи, хохотавшей в спину русским солдатам, убиваемым в Маньчжуріи, хохотавшей над ледяной водой, покрывшей русскіе броненосцы при Цусимѣ—хохочущей и хохотавшей над всѣм русским—от Чернышевскаго и до сих пор, т.е. пол вѣка. Об этой матери в этой заграницѣ они разсказывают, что та всего только блудница и всего только воровка, которую давно надо удавить на грязной веревкѣ .. Что же вы мучите Россію, что же вы тянете жилы у старухи 900-лѣтней старости, 900-лѣтняго труда, 900-лѣтняго терпѣнія, которая собирала дом свой 900 лѣт!

«Эти «райскіе люди» невинные, непорочные, без грѣхопаденія в семьѣ и только немного нуждающіеся в деньгах. Вот нѣкоторое мамашино наслѣдство им интересно...

«...Они будут нашептывать нашим дѣтям, еще гимназистам и гимназисткам, что мать их воровка и потаскушка, что теперь, когда они по малолѣтству не в силах всадить ей в спину нож, то, по крайней мѣрѣ, должны понатыкать булавок в ея постель, в ея стулья и диван; набить гвоздочков вездѣ на полу...и пусть мамаша ходит и кровянится, ляжет и кровянится, сядет и кровянится. Не нужно звать погрома в Бѣлосток, не надо погрома звать и в Россіи: ибо революція есть «погром Россіи», а интеллигенція «погромщики» всего русска-

го: русскаго воспитанія, русской семьи, русских дѣтей, русских сел и городов, как все Господь устроил и Господь благословил».

VII

Но вернемся, однако, к революціонному Томску.

Перваго марта, когда мы «все узнали», день были на рѣдкость яркій и солнечный.

2-го марта день стал сѣрым. И в большой аудиторіи «Анатомки» профессор по кафедрѣ философіи права І. В. Михайловскій, самый строгій к нам и с нами, и многим за многое и, в особенности, за строгость — одіозный, не обращая вниманія на то, что скрѣпы уже ползут и все раздается вширь и вглубь и бурлят уже и гудят революціей коридоры, объявил лекцію:

— «О государственном строѣ».

Тема была исключительно сенсаціонной. Многіе уже предвкушали, что и он, как и всѣ прочіе, как Грамматикати (один из правѣйших) про котораго сочинили сразу злой стих:

«Перевернулся весь свѣт,
Что за таинственный танец?
Грамматикати — кадет.
Ррес-пуб-ликанец!» —станет пѣть новыя пѣсни.

Но Михайловскій, уже немолодой и некрасивый, больной сердцем, с каким то странным акцентом («рэгулятивый прэнсип») появился спокойно в битком набитой аудиторіи, куда пришли всѣ, кто мог, кто понимал, кто интересовался тѣм, что происходит вокруг нас, даже тѣ студенты с красными повязками на рукавах, которые сразу в пер-

вый же день вѣстей попали в милицію и уже охраняли, арестованнаго в своем «дворцѣ», губернатора.

Михайловскій был «как всегда» в неновом, обычном, строгом сюртукѣ и, как всегда, в свѣжем крахмальном воротничкѣ, отложном, под которым был, как всегда, для сюртука, довольно яркій галстук, но голубой, а не какой-нибудь бордовый, как уже у нѣкоторых г.г. профессоров Он был спокоен, он был академичен, он ничѣм не выдал своего внутренняго большого волненія, хотя и знал, что послѣ ректора и Грамматикати он едва ли не самый одіозный и, вѣроятно, чувствовал, что от «русской революціи» он то уже, так или иначе, но обязательно пострадает. И он сказал то, что он всегда думал, — мы это поняли сразу, хотя в годы реакціи он скрывал, что идеальным строем и в наукѣ и в его личном мнѣніи надо считать «конституціонную монархію», в которой «власть законодательная» отдѣлена от «власти исполнительной» и «власть исполнительная» подчиняется «власти законодательной», а над всѣм над этим «царит Корона», равно священная как для власти законодательной, — органы широкаго конституціоннаго представительства — так и для власти исполнительной.

Потом он рѣзко отозвался о республиканских строях, всѣх вообще, всегда гораздо болѣе раззорительных, любостяжательных и не сбалансированных, неустойчивых. Мы о «конституціи», прежде, от Михайловскаго так ярко не слыхали, но вѣдь 80 процентов студентов ко 2-му марта 1917 года были в Томскѣ и по всей Россіи республиканцами

и его мужественная, научная, строгая, но к русской исторіи не приложимая—увы!— лекція была воспринята корректно, но холодно.

Мы уже переплеснули через край! Опустѣли лекціи, наполнились митинги. Старостат всплыл наружу и выборы в него были проведены, не дожидаясь «каких то там» разрѣшеній из Петербурга или согласія «гражданина» ректора: начальство стало маленьким, и начальство как-то фатально, как и в 1905 году, «ушло». Я сначала попадаю в милицію, не затѣм, чтобы ходить самому в патрулях, но попадаю на вокзал, Томск Второй, прослѣдить, как будет происходить посадка очередного эшалона «на фронт». И вот, когда я, в тот же день, увидѣл как этот эшалон пришел, как он, очень нехотя, размѣщался, как офицеры, сразу, оказались словно «не при чем», я, послѣ мук, и дум, и хлопот этого нелѣпаго, пестраго «историческаго дня», придя домой в свою коморку и ложась спать, очень поздно, перед разсвѣтом, — понял, что все провалилось, что власть переходит к улицѣ, что образованные классы силы не имѣют, что мы несемся куда-то вскачь, в черную пропасть—и гдѣ спасеніе, от кого оно?!

Потом закрутилась лихорадка революціонных дней. Я попадаю (от своего курса) в Совѣт студенческих старост. Засѣдаю в нем, засѣдаю на сходках по курсам и общих сходках, делегируюсь на сходки в Технологическій институт, на Женскіе курсы, попадаю в совѣт объединенных старостатов, митинги идут по всему городу—рѣчи, флаги, резолюціи, куда то далеко уходят занятія, зачеты, экзамены, всероссійскія событія меня тоже поглоща-

ют. В университетѣ начинает бурлить движеніе за отмѣну «минимумов», мы, лидеры как ни революціонны наши слова на сходках, внутри старастата остаемся еще вѣрны рѣшимости довести академическій год до конца, мы всѣ еще (и на словах и на дѣлѣ) пламенные патріоты, оборонцы, мы снаряжаем санитарный отряд на фронт, но студенческая масса требует: «хлѣба и зрѣлищ».

«Хлѣб» это отмѣна экзаменаціонных минимумов, так прямо и думали (даже студенты), что раз революція, то к черту экзамены и стоит ли корпѣть над книгами? Во всяком случаѣ,—«отложить экзамены до осени». А «зрѣлища» — это митинги.

Давайте им больше митингов! Чтобы громче были рѣчи. Ярче лозуни. Смѣлѣе рѣшенія! Толпы пьянѣли...

* * *

Революція 1905 года проходила по улицѣ, революція 1917-18 г. г. вошла в дома. О той, первой, революціи Розанов мог писать, напрасно сѣтуя на себя, за свою уединенность, слѣдущее:

«Поразительно, что иногда я гляжу во всѣ глаза на «событіе» и даже пишу о нем статьи, наконец,— произношу о нем глубоко раздѣльныя слова яснаго, значительнаго смысла, в уровень и в «сердцевину» событія: и, между тѣм, совершенно его не вижу, не знаю, ничего о нем опредѣленнаго не думаю, и «хочу ли» его или «не хочу»—сам не знаю. Я сам порадовался (душею), когда ухом услышал свои же слова: —Господа, мы должны радоваться не тому, что манифест дан: но, что он не мог не быть дан, что мы его взяли.

«Это когда Столыпин (А. А.), войдя в общую комнату, гдѣ были всѣ «мы», сказал, что Государь подписал манифест» (17-го октября)... Всѣ заволновались, и велѣли подать шампанское. Тут я, вдруг сдѣлавшись торжественно-настроен, с чѣм-то «величественным» в душѣ (прямо чувствовал теплоту в груди) и сказал эти слова, которыя вѣдь были «в сердцевину» событія...

«Между тѣм мнѣ в голову не приходило, что дѣло идет о конституціи. До такой степени, что когда я пошел домой, то только с этой мыслью, что дня на три, а может—дней на пять, можно отдохнуть от писанія статей. Пришел домой и сказал это, и сказал, что завтра и послѣзавтра не надо итти в редакцію. Сообразно этому на завтра я велѣл приготовить себѣ бѣлье, и отправился на Знаменскую лежать на полкѣ в горячем пару, «отложив всѣ попеченія» (моя в своем родѣ «херувимская») .. И вечером что-то возился около бумаг, монет и около чая.

«Вдруг послѣзавтра узнаю, что «вчера шли по Невскому с красными флагами .. единственный и первый раз в русской исторіи при «благосклонном сочувствіи полиціи»... Единственная минута, единственное ощущеніе единственное переживаніе. Вѣдь я же это понимаю. О! Да!!! Но я «пролежал в пару»! («Уединенное»)

От второй революціи Розанову из Петербурга пришлось укрыться в Сергіеву Лавру и там, умирая, он писал свой «Апокалипсис» в котором с невыразимой мукой спрашивал: «Россія—гдѣ ты? Откликнись»!

Итак, возвратимся к нашему разсказу. За пол-

тора года до того, как в Сибири началась настоящая «гражданская война» бѣлых с красными, она дала о себѣ знать в Томском университетѣ: она вспыхнула между профессурой и студенчеством. При чем перебѣжчики, дезертиры и «соглашатели», были с обѣих сторон. Профессора, как старшее поколѣніе, хотѣли, чтобы занятія продолжались, «как обычно», чтобы командовали университетскими дѣлами они, чтобы указанія высшаго порядка получались из Петербурга. Студенты же сразу отбились от рук, хотѣли дѣлать все, что им угодно, только не то, что они дѣлали «при царском режимѣ» и надрывали глотки на митингах. Перебѣжчиками «на сторону профессоров» были академисты, или то, что в демократическом Томском университетѣ мы имѣли под этим именем. Они хотѣли учиться, они были рѣшительно против забастовки. Об этом они говорили и на сходках. Среди них выступал студент Н. И. Колесниченко. Их было меньшинство. А подавляющее большинство, в котором оказался и я (прежде всего и больше всего потому, что я был старостой курса, а, потом сам, того не ожидая получил и другіе «титулы»: члена «совѣта старост», члена «объединеннаго совѣта старост» и с осени стал одним из трех членов «студенческаго суда») —стояло за то, чтобы совѣт профессоров не игнорировал желаній студенчества. «Старостат» был искренно и горячо против забастовки, но, несомый на гребнѣ волн бушующаго моря, должен был вчинить ультиматум совѣту профессоров — «отмѣнить экзаменаціонный минимум», как пережиток «павшаго режима».

Мы, старостат, плыли по теченію, уносимые

бурлящей массой не потому что «цѣплялись за власть», а потому, что искрнннo думали, что если старостат нашего состава студенты свергнут, то на смѣну ему придет еще болѣе анархическій старостат (чувство, которое было, должно быть, у нѣкоторых членов Временнаго правительства). И, вот, сомнительная честь представлять «интересы революціоннаго студенчества» в совѣтѣ профессоров выпала на меня. Почему выбрали меня, я сам не знал! Может быть потому, что для студенческой массы зало засѣданій совѣта профессоров (которых и в Томскѣ было очень много) по прежнему казалось мѣстом очень важным, очень торжественным и чопорным, а я всегда появлялся в форменной, красиво сшитой, тужуркѣ, при крхамальном воротничкѣ и слыл (без основаній) бѣлоподкладочником.

Когда я шел, послѣ бурной, рѣшительной сходки, на которой присутствовало тысячи три человѣк и на которой я понял, что, не смотря на мои страстные призывы к благоразумію, эта масса, как раздраженный звѣрь, все равно полѣзет на рожон, и послѣ лихорадочнаго совѣщанія, в крохотной прозекторской, Старостата, гдѣ мнѣ от руки писался «мандат» на уже начавшееся засѣданіе совѣта профессоров, я волновался так, как волновался лишь нѣсколько раз в своей жизни. Проходя по торжественному корридору в тѣ заповѣдныя хоромы, куда мы, всего мѣсяц назад, не имѣли права попадать—я еще раз убѣдился в том, что внѣшне я «вполнѣ comme il faut!» и рѣшил быть вѣжливым до предѣла.

Курьер распахивает передо мною дверь и я

среди «ареопага». С таким чувством, я думаю, члены перваго рабочаго правительства входили на аудіенцію к английскому королю, цѣловать его августѣйшую руку. Как раз передо мною оказалась та часть огромнаго, крытаго зеленым сукном, стола, раскинутаго покоем, за которой, в центрѣ, прямо передо мною, находился новый ректор, проф. В. В. Сапожников, проректор проф. В. Н. Саввин, далеко влѣво я нашел декана юридическаго факультета проф. Н. Я. Новомбергскаго, а сам я сѣл vis a vis стараго профессора Александрова, сѣдого, как лунь, читавшаго на втором курсѣ органическую химію. Рядом с ним сидѣл физіолог Кулябко, опыт котораго с оживленіем сердца создал ему міровую извѣстность и который был женат на удивительно молодой женщинѣ, а она всегда долгими и внимательными глазами смотрѣла при встрѣчѣ на нас, студентов.

Меня встрѣтили со сдержанной любезностью, подобно тому как, надо полагать, встрѣтили, незадолго перед тѣм в ставкѣ Верховнаго Главнокомандующаго в Могилевѣ, делегатов революціонной Государственной Думы. По должности преподавателя женской гимназіи, я бывал, конечно, на педагогических совѣтах, но пленум совѣта профессоров поразил меня своей импозантностью — огромный стол, масса почтенных лиц, торжественная тишина и какая то истовость обряда засѣданія. Они тоже, вѣроятно, переживали нервно это вторженіе посторонняго и, как сразу для меня выяснилось,— враждебнаго им элемента. Но я все сдѣлал, чтобы держаться корректно, сдержанно, в высшей степени любезно и даже предупредительно, хотя и со-

знавал, обостренным по моменту сознанiем, что это не тот modus, котораго от меня ждет революцiонная масса, представителем которой я в данный момент являлся.

— Теперь,— сказал декан Сапожников, впослѣдствiи министр народнаго просвѣщенiя,— мы выслушаем, что нам скажет представитель г. г. студентов.

Мой голос, уже привыкшiй к митингам, здѣсь нѣсколько дрогнул, но, потом я как-то овладѣл собой и доложил, что совѣт студенческих старост полон желанiя довести академическiй год до конца, но, принимая во вниманiе, что многiе студенты потеряли больше мѣсяца, так как находились в рядах городской милицiи и многiе хотят, теперь же без промедленiя, отправиться в дѣйствующую армiю, в санитарных поѣздах и для политической работы, старостат п р о с и т совѣт профессоров (сходка мнѣ приказала требовать!) отмѣнить, как мѣру временнаго порядка, «экзаменацiонный минимум».

Мое заявленiе было, на одном из крыльев стола, гдѣ то у окон, встрѣчено гулом явнаго, хотя и академически-сдержаннаго, негодованiя. Вообще многiе профессора тогда еще не могли «переварить», что представитель «г. г. студентов» может быть допущен на засѣданiе их совѣта. Я мгновенно угадал рост враждебности в атмосферѣ, почувствовал себя «посторонним тѣлом» и от этого, как от удара хлыста, сам стал «испарять» из себя почтительность и священный трепет, в охватѣ которых переступил порог этого «святая святых». Я знал, что пришел сюда с лучшими намѣренiями, я сознавал себя даже «заложником» неистовавшей

в актовом залѣ массы, которая хотѣла голаго бунта, душею я был на сторонѣ не студентов, а профессоров, которые внутренне приняли меня «в штыки». На сердечность и пониманіе я мог разсчитывать только у декана юридическаго факультета, который знал меня лично и знал, что ни на что демагогическое я не способен. Но я, одновременно, был не способен и стать измѣнником тѣм, кто меня сюда послали, кто мнѣ оказал довѣріе, как представителю «объединеннаго студенчества».

— Что же будет,— спросил меня, с нескрываемым ядом, кто-то из профессоров-медиков, гдѣ вопрос об экзаменах стоял гораздо острѣе, т. к. требованія этото факультета были строже, — что-же будет, если мы не согласимся на отмѣну экзаменаціоннаго минимума?

— Студенты прекратят занятія,—сказал я твердо, громко, звонко (сейчас я был уже с ними, с той бушующей толпою, которую нам, старостам, едва-едва удалось уломать идти конституціонным, а не революціонным путем—прямых дѣйствій!)

— Ах, вот как? Г. г. студенты хотят нас запугать! Нам предъявляется ультиматум!—сказал другой кто-то, тоже из явно враждебно настроенных к моему появленію.

Тогда слово берет проф. Новомбергскій, ладившій и любимый массой. Он пытается успокоить страсти. Он объясняет «коллегам» позицію совѣта старост. Но профессорская позиція неумолима. Никаких угроз со стороны студентов профессора не допустят! Они дѣйствуют в строгом соотвѣтствіи с существующими и все еще не отмѣненными законоположеніями, из министерства указаній на

счет отмѣны экзаменаціоннаго минимума нѣт, студентам, если им угодно, надо дѣйствовать иначе, они могут наконец сами снестись с министерством, — с кѣм им угодно!—но, впредь до полученія распоряженій из центра, совѣт профессоров не может вообще входить ни в какія переговоры с «самочинной организаціей» совѣта студенческих старост. Профессора будут продолжать чтеніе лекцій, объявят экзаменаціонные сроки и закончат год, как всегда. Да-с!

Ректор, который хотя и чувствовал «обстановку момента», старательно скрывал свои чувства— тогда, все таки, никто еще не знал чѣм вся эта революціонная заваруха кончится (апрѣль 1917 г.)

Исход голосованія был предрѣшен. Подавая свою записку, ко мнѣ, через стол, наклонился проф. Кулябко и конфиденціально и заискивающе тихо сказал, что хотя он «понимает настроенія студенчества», он должен отвергнуть предложеніе об отмѣнѣ минимумов. Также извинился передо мной за то, что голосует «против», старый, почтенный, сѣдой как лунь, проф. Александров, у котораго была прелестная дочь, с длинной косою, украшенной красивым бантом, в которую мы всѣ, тайно, были влюблены и с которой проф. Александров любил гулять под ручку по улицам.

Проф. Александрову я, в высшей степени вѣжливо, но сдержанно осаживая, отвѣтил, что голосованіе тайное и каждый «должен дѣйствовать по велѣнію своей совѣсти». Я же только передаю инструкціи сходки и старостата.

Предложеніе студентов было провалено быстро. Подавляющим большинством голосов! Я неме-

дленно покинул зал совѣта и поспѣшил, не чувствуя под собою ног, в старостат.

Там не удивились, там были готовы к отвѣту, который я принес. Коноводы в старостатѣ, вообще, были люди, сдѣланные из другого матеріала, чѣм я. Они, словно, даже обрадовались, что старорежимные «люди в футлярѣ» не пошли на сговор с ними. Тѣм лучше!

На слѣдующій день была, громко и побѣдно, объявлена забастовка. На дверях главнаго университетскаго входа был выкинут гордый плакат, воспрещавшій идти на лекціи, требовавшій прекратить запись на экзамены и зачеты, грозившій бойкотом штрейкбрехерам. Гражданская война на университетском фронтѣ запылала!

Профессура скоро пошла на уступки, так как Петербург испугался забастовки и потребовал успокоить «массы». Мы — представители старостата — снова прибыли в совѣт профессоров. На сей раз, как тріумфаторы. Послѣ второго или третьяго совѣщаній, когда я прощался глубокой ночью со ставшими мнѣ уже хорошо, «внутренне» знакомыми г. г. профессорами, проректор В. Н. Саввин удержал мою руку в своей большой, крѣпкой, твердой и холодной ладони и сказал:— «Э, батенька, да у вас жар! И сильный жар! Идите домой, а утром я заѣду». Утром, еще до тѣх пор пока пріѣхал этот умный, смѣлый, стойкій ученый, я вызвал университетскаго врача, д-ра Адамова, и свалился в тифѣ. Революція понеслась сама по себѣ, над моей пылавщей головой.

VIII.

Воспоминанія мои, о давних впечатлѣніях от революціи в Россіи через школу, нашли оригинальный отклик.

В Шанхаѣ отыскался коллега мой по университету, который был так любезен, что доставил мнѣ студенческій журнал, который я редактировал.

Номер журнала, который у меня теперь перед глазами, датирован апрѣлем 1918 г. Назывался он в духѣ и стилѣ эпохи: «Извѣстія Совѣтов Студенческих Старост г. Томска. Двухнедѣльный студенческій журнал».

Ко времени выхода этого журнала, Томск уже был захвачен совѣтской властью. Произошло это, поскольку не измѣняет память, слѣдующим образом: нѣсколько недѣль спустя послѣ октябрьскаго переворота в Петроградѣ, безсильная власть эс-эровскаго городского самоуправленія чуть ли не сама себя упразднила.

Во всяком случаѣ отчетливо помню, что Томск вѣрил в то, что, когда представители города пошли в совдеп, находившійся в казармах, сдавать власть, большевики не повѣрили и думали, что это провокація, чтобы цензовые элементы (по тогдашней терминологіи) могли забрать совдеп «голыми руками»: делегацію не хотѣли пустить, пугливо смотрѣли из окон казармы:— нѣт ли гдѣ засады...

Но скоро, очень скоро Исполнительный Комитет Губернскаго С. Р. С. и К. Д. стал забирать в Томскѣ настоящую власть в свои руки и так как на его сторонѣ были городскіе низы и окончательно разложившіяся части мѣстнаго гарнизона из

запасных, то совдеп, во главѣ с тов. Бѣленцом, получил возможность «показать зубы».

Но, все таки, как явствует из того журнала, который лежит перед глазами и под которым стоят подписи пяти членов «редакціоннаго коллектива»: Л. В. Арнольдов, Г. Б. Вишняк, А. Г. Коган, М. М. Купицкій и С. К. Неслуховскій — свободное и независимое слово еще не было окончательно задушено и для Томска період террора еще не начался.

Первый удар по студенчеству—массѣ молодежи, тысячи в три человѣк,—большевики рѣшили нанести только к концу марта 1918 г., иными словами, мѣсяца через четыре послѣ своего прихода к власти. На стр. 12-ой упомянутаго журнала, находим сообщеніе:

— «Аресты. 30 марта арестованы, по ордеру Исполнительнаго Комитета Губернскаго С. Р. С. и К. Д., проф. Новомбергскій и студенты: Розенншток, Шаманскій, Блюгерман, Дебрей, Зорин, Немиро, Рудаков и Бѣлешовитскій».

Живо помню сѣрый, весь в сумерках, мартовскій, как то тоскливо суровый день, когда к нам в аудиторію, гдѣ проф. Н Я. Новомбергскій читал курс административнаго права, вбѣжал взволнованный первокурсник и истерически крикнул:

— «Как вы можете читать, профессор, когда красная гвардія окружила университет и на нас направлены пулеметы!»

Н. Я. Новомбергскій, высокій, бритый и красивый, в традиціонном сюртукѣ, человѣк который в условіях парламентскаго строя непремѣнно сдѣлал бы карьеру народнаго трибуна, слегка блѣднѣет.

Он знал, что подлежит аресту, как один из самых популярных в этот період среди студенчества профессоров, и говорит:

—Коллега прошу вас успокоиться и сѣсть! Я должен закончить свою лекцію!

И, обращаясь к аудиторіи, добавляет:

—Автономія высшей школы—это самое святое, что у нас имѣется. С тех самых пор, как еще в XI вѣкѣ, возникли в Западной Европѣ университеты, их исторія была неотдѣлима от их автономіи. Юридическія школы Равенны и Падуи и медицинская в Солерно, дали первые образцы университетской организаціи, которые мы всегда старались отстаивать и перед самодержавіем и перед новой властью захватчиков! Пусть, если хотят и если посмѣют, они ворвутся сюда и заставят нас прекратить наши занятія, но сами мы будем спокойно продолжать наше дѣло. Вспомним того великаго ученаго древности, который во время осады Сиракуз, отстранив ногу солдата, сказал безсмертныя слова: «Noli me tangere».

И Новомбергскій дочитал лекцію до конца.

Когда он спускался по лѣстницѣ, окруженный густою толпою студентов, высясь над нею своим могучим ростом, перед нашими глазами, сверху, с лѣстницы, открывался вид на весь огромный нижній корридор, который бурлил студенческой толпою.

В этой толпѣ, как сейчас помню, было примѣтно среди юных лиц, выразительное старческое лицо нашего новаго ректора, знаменитаго ученаго ботаника и путешественника, изслѣдователя Алтая, проф. В. В. Сапожникова, а, вдали, у дверей свое-

го кабинета, стоял, как изваяніе, мужественный проректор В. Н. Саввин.

Университет был окружен мадьярами, никого из него не выпускали. Обыском руководили два наших студента большевика, фамилію одного помню до сих пор, это был первокурсник Якимов, впослѣдствіи «общественный обвинители» в революціонном трибуналѣ, в Хабаровскѣ.

4 апрѣля 1918 года мы созвали сходку всего студенчества в Актовом Залѣ и вынесли резолюцію, текст которой, доставленный также мнѣ старым коллегой, лежит у меня сейчас перед глазами:

«Томское студенчество, собравшееся 4-го апрѣля, считает необходимым, прежде чѣм приступить к своим очередным дѣлам, выразить свой протест против совершенных на днях мѣстным совдепом насилій.

«Власть душит свободную печать, закрывая в городѣ всѣ газеты, угощает все населеніе своим погромным листком, называющим себя органом «пролетарской культуры», разгоняег избранныя всеобщим, равным, прямым и тайным голосованіем земства, Городскую Думу, разрушив их до основанія, назначив исполнять их функціи своих безграмотных чиновников, власть арестовывающая наиболѣе идейных и честных из членов совдепа, терпит в своей средѣ, в это же самое время, лиц, запятнавших себя уголовными дѣяніями, для поддержанія своего могущества она окружает себя бандой германских наемников, не довѣряя русским рабочим и крестьянам, именем которых эта власть себя прикрывает.

«В Петроградѣ эта власть разстрѣляла семь

студентов, в Томскѣ она, среди прочих, арестовала также 7 студентов, пользующихся всеобщим довѣріем и извѣстных студенчеству своей борьбой за дѣло народа.

«Мы, томское студенчество, протестуем против этих арестов и с негодованіем отвергаем измышленія о контр-революціонности наших товарищей, мы требуем открытаго гласнаго суда, а не суда застѣнка, именуемаго Революціонным Трибуналом. Теперь же, до суда, наши товарищи должны быть немедленно освобождены!

«Мрачные тучи, нависшія над нашей многострадальной родиной, должны разрядиться, справедливость должна восторжествовать, мир, заключенный самодержцами из Смольнаго должен быть расторгнут. Тайной брестской дипломатіи должен прійти конец!

«В надеждѣ на свѣтлое будущее, томское студенчество шлет свой товарищескій привѣт своим заложникам, томящимся в застѣнкѣ томскаго совдепа и призывает всѣх граждан бороться за попранныя права, памятуя, что только борьбой послѣднія обрѣтаются».

Эта резолюція была нами отпечатана и, в тысячах экземпляров, распространена по городу, т. к. совѣтскій оффиціоз ея бы все равно не напечатал.

Борьба наша с совдепом была тѣм болѣе трудна, что во главѣ томской красной гвардіи стоял наш же студент, очень высокій, рослый и если хотите даже стильный парень кавказскаго типа, фамилія котораго вывѣтрилась у меня теперь из памяти.

Он был очень эффектен на сходках, одѣтый

в какую-то фантастическую по украшеніям полувоенную гимнастерку, когда он стоял на кафедрѣ, не двигая ни одним мускулом на красивом лицѣ и когда у него под ногами бушевало море негодующих студенческих голов, которым он смѣло противопоставлял свою вызывающую фигуру.

Арестованных студентов нам не освободили и мы рѣшили устроить «академическій суд» над тѣми двумя студентами, которые руководили обыском в университетѣ, по обвиненію их в нарушеніи —«университетской автономіи».

Будучи избран студенческим судьей на 1917—1918 академическій год, на судѣ предсѣдательствовал пишущій эти строки.

В день суда в совѣтском оффиціозѣ появилось недвусмысленное предупрежденіе, что если студенты осмѣлятся судить «товарищей, выполняющих директивы Исполкома», то университету не сдобровать.

Несмотря на угрозу, суд, все таки, состоялся. Большая «Первая» аудиторія не могла вмѣстить всѣх желающих присутствовать на этом своеобразном судѣ, гдѣ обвиняемые, конечно, отсутствовали, но гдѣ свидѣтельскія показанія давали: ректор, проректор, деканы факультета и директор Томскаго Технологическаго Института проф. П. И. Бобарыкин.

Засѣданіе это, длившееся около пяти часов подряд, сопровождалось многими драматическими эпизодами. Обвиняемые были заочно приговорены к исключенію из университета «в административном порядкѣ».

А предсѣдательствующему судьѣ пришлось

срочно покинуть город.

Еще хочется в заключеніе процитировать из этого единственнаго сохранившагося экземпляра стараго студенческаго журнала, всколыхнувшаго во мнѣ столько воспоминаній молодости, слѣдующую замѣтку из хроники.

«Совѣтом Старост Университета 1 марта был устроен литературный суд, чистый сбор с котораго, в суммѣ 246 руб. 55 коп., пойдет на взнос добавочной платы за недостаточных товарищей. Совѣт старост приносит благодарность: Л. В. Арнольдову, М. Бараховичу и Э. М. Полякову за устройство вечера».

К этой замѣткѣ можно только прибавить, что из трех названных здѣсь участников диспута поэта Михаила Бараховича разстрѣляли в 1920 году красные, а Э. М. Поляков стал, потом, помощником народнаго комиссара внутренних дѣл в Москвѣ, кажется у цареубійцы Бѣлобородова. Но в мартѣ 1918 года мы, всѣ трое, еще находили и время и желаніе выступать на диспутѣ, посвященном Моцарту и Сальери.

БѢЛЫЙ ОМСК.

ВОЙНА ПРЕДТЕЧА.

Бѣлаго Омска не существовало бы в исторіи, если бы не было войны в Европѣ 1914-18 г. г. При наступленіи революціи без этой войны, даже при возникновеніи сибирской вандеи, распоряжающимся событіями центром мог оказаться не Омск.

Больше того—именно война 1914 года предопредѣлила облик бѣлаго Омска, дала ему тѣх дѣятелей, которые бѣлым Омском управляли, и своим преждевременным для Омска финалом 11 ноября 1918 года именно эта война обратила героическую эпопею Омска в трагическій фарс.

Поэтому исторіи бѣлаго Омска должно обязательно сопутствовать предисловіе: как началась война 1914 года, какія силы породили ее?

Ген. Деникин, один из выдающихся наших генералов в годы европейской войны а, потом, один из двух вождей, руководивших гражданской войной со стороны бѣлых, в 1934 году, в Парижѣ, категорически заявил, что «Россія не отвѣтственна за міровую войну». По его убѣжденію, основанному на изученіи документов различных министерских архивов и мёмуаров главнѣйших участников событій, отвѣтственность за міровую войну несет не Россія, а Германія. Для нас авторитет А. И. Деникина в этом вопросѣ неоспорим. Кромѣ того, мы

знаем его безпристрастность и благородство и принимаем его вывод без оговорок. Какими же фактами оперировал ген. Деникин прежде чѣм вынести свое рѣшеніе?

Он указывает, что, начиная с 1904 года, Германія ведет настойчивую борьбу с Франціей в Мороко. Она старается захватить для себя как можно больше колоніальных владѣній, систематически интригует на Востокѣ и лихорадочно вооружается. Происходит реорганизація германской арміи, Германія строит по четыре дредноута в год, что, в свою очередь, заставляет Англію усиленно состязаться в вопросах морского строительства.

В умах германских политиков-активистов, охотно и открыто, в печати, разсуждавших о надвигающейся войнѣ, первой жертвой бронированнаго кулака должны были стать славянскіе народы и их главная покровительница Россія, а, одновременно, и Франція, которая была связана с нами военной конвенціей.

Конвенція эта, подписанная лишь в 1913 году, гласила: в случаѣ, если Франція подвергнется нападенію со стороны Германіи или Италіи, Россія выставит всѣ свои силы против Германіи. И, наоборот, в случаѣ нападенія на Россію Австро-Венгріи, при поддержкѣ Германіи,—Франція выступает на сторонѣ Россіи. Гораздо сложнѣе обстояло дѣло с Англіей. Россія не имѣла с ней опредѣленной конвенціи. И еще наканунѣ войны никто не знал, скажет ли Англія да или нѣт. Слѣдует подчеркнуть, что тройственный союз предусмотрѣл взаимную помощь давно, а соотвѣтствующая конвенція между Германіей и Австро-Венгріей была

подписана еще в 1909 году. По этому поводу Мольтке писал ген. Конраду:

«Надо предвидѣть момент, когда монархія должна будет вторгнуться в Сербію. Это вызовет выступленіе Россіи. В тот момент, когда Россія мобилизует свои силы, Германія сдѣлает то же самое». Таким образом, позиціи были заняты задолго до войны.

Германію и Австро-Венгрію в значительной степени ободряло то обстоятельство, что русско-японская война на долгіе годы уничтожила военную мощь Россіи, подорвав ея международный авторитет.

Ген. Деникин указывает, что положеніе нашего флота и нашей арміи послѣ войны с Японіей было ужасающим. Не хватало кадровых офицеров, базисные склады были дезорганизованы. Достаточно напомнить, что запас патронов у нас не достигал тысячи штук на ружье, в то время как Германія не считала для себя достаточным трех тысяч патронов на ружье.

—До 1910 г. наша армія, — говорит ген. Деникин, — была безпомощной. И только в самые послѣдніе годы, реорганизація ея быстро пошла вперед. Но «большая программа», которая должна была усилить мощь арміи, была утверждена только в мартѣ 1914 года.

Короче говоря, к моменту войны Россія была не готова. Не было ни кадров, ни запасов. По вопросам военным не было единства мнѣнія и в средѣ русской общественности. Правая общественность готова была пойти на большія жертвы по вооруженію. Либеральная общественность противилась,

«во имя всемірнаго братства народов и в осужденіе воинствующаго націонализма...»

Для того, чтобы еще болѣе уточнить аргументацію, ген. Деникин ставит три вопроса: 1) была ли русская армія достаточно сильна, чтобы защищаться?, 2) мог ли отказ Россіи от вооруженій предотвратить событія на Балканах? и 3), даже при условіи полной нейтрализаціи Россіи, вплоть до гегемоніи Германіи в Европѣ, обезпечивалось ли свободное развитіе Россіи? На всѣ три вопроса ген. Деникин отвѣчает отрицательно. Русское правительство хорошо знало свою безпомощность и наша безпомощность особенно явственно проступала на фонѣ донесеній от наших военных агентов на счет готовности к войнѣ германских арміи и флота.

В Россіи настолько отчетливо сознавали наше незавидное положеніе, что директивы на первые дни войны предусматривали очищеніе десяти губерній и отвод армій на 200 верст вглубь страны! Это был план пассивнаго сопротивленія, в котором вся иниціатива предоставлялась врагу. Другую картину представляла собою Германія. Там существовала директива — «рѣшительное наступленіе». В нашем генеральном штабѣ, царил пессимизм, порождаемый неувѣренностью в собственных силах.

При этих условіях происходит захват Австріей Босніи и Герцоговины. Для Сербіи этот захват явился грозным предзнаменованіем. За спиной Австріи чувствовался бронированный кулак Германіи. Русское правительство, пытавшееся взять Сербію под свою защиту, должно было уступить. Фактически,— утверждает ген. Деникин,—ни одна из великих держав не хотѣла воевать из за Сербіи.

Только Австрія, которая жаждала уничтоженія Сербіи, хотѣла войны. 28 іюня 1914 года грянул сараевскій выстрѣл. Слѣдствіе установило непричастность сербскаго правительства к убійству эрцгерцога Франца-Фердинанда. Непричастна к нему и австрійская полиція, хотя странно и загадочно прозвучали слова Франца-Іосифа: «Я хотѣл измѣнить ход вещей, но судьба поставила все на свое мѣсто».

Австро-венгерское правительство в первую очередь освѣдомилось о намѣреніях Германіи. Кайзер поспѣшил успокоить императора Франца-Іосифа: «Германія станет на вашу сторону даже в случаѣ воины с Россіей». Предоставив Австріи «карт-бланш», Кайзер отбыл на отдых в шхеры Сѣвернаго моря. А, между тѣм, уже 7 іюля в австро-венгерском совѣтѣ министров было признано неизбѣжным вовлеченіе в войну Франціи и Россіи. 19 іюля, еще до предъявленія ультиматума Сербіи, война была рѣшена. 22 іюля германское правительство, ознакомилось с полным текстом ультиматума и одобрило его. На слѣдующій день унизительный ультиматум был предъявлен. Сербія передала свои судьбы в руки Россіи. И еще раз Россія дала доказательства своего миролюбія: Сазонов совѣтовал Бѣлграду принять всѣ пункты ультиматума, не нарушавшіе суверенитета сербскаго государства. В этом духѣ и был составлен отвѣт. Сербское правительство приняло всѣ пункты, за исключеніем того, который предусматривал участіе австро-венгерских агентов в слѣдствіи на сербской территоріи; пункт этот противорѣчил сербскому уголовному уложенію. Отвѣт был таков, что даже Виль-

гельм II сдѣлал на полях доклада помѣтку: «Большой успѣх для Вѣны. Но сербскій отвѣт исключает всякій повод к войнѣ». Кайзер ошибся — Австрія во что бы то ни стало хотѣла войны.

Ген. Деникин подробно излагает далѣе всѣ послѣднія попытки удовлетворить Австрію: новыя выступленія Сазонова, предложеніе Франціи и Италіи передать конфликт на разсмотрѣніе четырех великих держав, попытка Грея, которую Берлин обѣщал поддержать и тайным образом провалил и, наконец, личныя усилія Императора Николая II. Все было тщетным: 28 іюля Австро-Венгрія объявила войну Сербіи.

В вопросѣ об отвѣтственности за войну чрезвычайно важную роль играет и то, кто первый отдал приказ о всеобщей мобилизаціи. Германская мобилизаціонная машина была приведена в дѣйствіе в полночь 30 іюля. Указ о мобилизаціи был распубликован в Германіи 31 іюля в 12 часов 30 мин. дня. За нѣсколько часов до полученія извѣстія о том, что Россія также мобилизуется. Как и когда было принято это рѣшеніе в Россіи?

25 іюля в Царском Селѣ было рѣшено провести частичную мобилизацію четырех военных округов, кромѣ пограничнаго, варшавскаго. А. И. Деникин считает это ошибкой. Частичная мобилизація давала против Австріи только 13 корпусов, вмѣсто предусмотрѣнных шестнадцати.

28 іюля, получив извѣстіе об объявленіи Австріей войны Сербіи, Сазонов сообщил генеральному штабу свое мнѣніе о необходимости подготовить всеобщую мобилизацію. Составлены были два проэкта—мобилизаціи всеобщей и частичной. Ут-

ром 28 іюля Государь подписал приказ об общей мобилизаціи, который пока держался в секретѣ. Вечером 30 Государь перемѣнил рѣшеніе и повелѣл производить только частичную мобилизацію. Смутил его текст послѣдней телеграммы Вильгельма, который обѣщал повліять на Австрію. Предложеніе Николая II передать конфликт на разсмотрѣніе гаагскаго трибунала принято не было. С этого момента война стала неизбѣжной. 30 іюля генеральный штаб доложил Николаю II о необходимости всеобщей мобилизаціи: «Вы правы,— отвѣтил Государь,— больше ничего не остается дѣлать».

В ночь на 31-ое число (по новому стилю) были подняты всѣ силы Россіи. В полночь Германія предъявила ультиматум Россіи и Франціи. Нѣсколько часов спустя началась война. Русское общественное мнѣніе было единодушно в оцѣнкѣ событій. Война, навязанная Россіи, вызвала великій патріотическій подъем. В оцѣнкѣ событій одинаково сошлись и «Рѣчь» и «Новое Время». В іюльскіе дни было полное единеніе власти с народом.

КАК ОНА ПРИШЛА.

Перед началом войны я вернулся на каникулы из Франціи и жил в крохотном мѣстечкѣ: не то селѣ, не то в рыбачьей деревушкѣ, на озерѣ Байкалѣ, в Листвиничном.

Нас было трое: лѣсной ревизор, товарищ моего покойнаго отца, его красивая и юная дочь Таня и я. Жили мы в домѣ лѣсничаго.

Почта приходила, но не аккуратно и газеты вообще не составляли чего-то существеннаго среди неописуемой красоты байкальскаго пейзажа.

Прямо перед нами, по той сторонѣ, шли снѣжныя вершины Гольцов.

Эти вершины плавились золотом на солнцѣ, а, при закатах, были покрыты кровью. Их видно даже в Иркутскѣ.

Над Байкалом висѣли по утрам туманы. Или священное озеро лежало ровными зеркалами в лѣтній зной, не шелохнувшись. Над озером-морем была опрокинута чаша чистаго неба.

Вода была холодной и о купаньи нечего было думать. Но был по сосѣдству лѣс, полный ароматов и лѣтней манящей теплоты, была лодка, которая так волнующе зыбила на мертвых волнах страннаго и притягательнаго озера-моря.

И были ночи, которыя казались еще прекраснѣе, значительнѣе, необыкновеннѣе от того, что им предшествовала моя жизнь в шумных столицах: Париж, Берлин, Варшава, Петербург, а, до того, Москва и студенческая жизнь в Тулузѣ, во всем отличная от иркутской, сибирской, провинціальной жизни.

И, вот, тут-то именно я и получил, по газетѣ «Сибирь», извѣстіе о том, что гимназист Принцип (почему такая фамилія) убил эрцгерцога Франца-Фердинанда.

Я до сих пор помню, что, несмотря на преисполненность собственными романтическими переживаніями, несмотря на то, что, по тѣм временам, без аэропланов и радіо связи, Европа психологически представлялась чѣм то безконечно далеко отстоящим (12.000 миль желѣзнодорожнаго пути!) я инстинктивно ощутил, что случилось нѣчто большое, важное и страшное.

Я понял, что идиллія в Листвиничном дольше уже не может продолжаться, что нѣчто от прежней безпечности ушло вдруг сразу из нашей жизни, что надо ѣхать в город, гдѣ оставалась мать и младшій брат.

Почему так казалось мнѣ, я теперь не мог бы болѣе подробно объяснить. Мы тогда не говорили так много о войнѣ, как говорим о ней сейчас. И уж во всяком случаѣ мы себѣ тогда войну не представляли так ярко, так преувеличенно устрашающе рельефно в деталях, и жутком всеохватѣ, как всѣ мы ея представляем себѣ теперь. И, все-таки, инстинкт подсказал, что надвигается ужас.

Хотѣл ли я войны?—конечно нѣт! Зачѣм? Этот дикій вопрос просто не мог притти в голову.

Но еще в 1912 г, я думал, что из за славян Россіи придется воевать с нѣмцами.

Что я тогда, студент из Европы, знал о готовности держав к войнѣ? Почти ничего!

Проѣзжая через Германію во Францію, и, потом, обратно, через Германію из Франціи в Россію, я покупал, как и всѣ на вокзалах, брошюрки или открытки шовинистическаго жанра.

В Германіи было много таких изданій, в которых сѣверные департаменты Франціи были вызывающе закрашены в одинаковый со всей Германіей цвѣт.

Но и во Франціи патріоты не переставали говорить о том, что Эльзас-Лотарингія должна быть возвращена Франціи и что там прусскіе юнкеры черт знает что дѣлают с населеніем.

Во всяком случаѣ, брутальность политики германской дипломатіи выпирала куда ярче всяких

прочих инѣх, как теперь модно выражаться, имперіалистических вожделѣній.

Но в Россіи о войнѣ серьезно и тревожно заговорили только послѣ Сараевскаго убійства.

И вот, сейчас, в іюлѣ 1935 года, исполняется как раз двадцать один год, как я рѣшил нарушить свой отдых в Листвиничном, на берегу Байкала и в срочном порядкѣ возвратиться в лѣтній, душный и горячій Иркутск.

Здѣсь я уже вовлекся с головою в водоворот политических событій, как их отражала мѣстная печать. Иркутскія газеты меня мало теперь удовлетворяли.

Через четыре, пять дней стали регулярно поступать столичныя газеты, с описаніем политических событій, нароставших в Европѣ, и я особенно внимательно читал, помню, «Русское Слово» из Москвы.

Мысль, что ученіе мое во Франціи обрывается не особенно меня безпокоила. У нас тогда у всѣх была своя Россія, гдѣ можно было учиться когда и гдѣ угодно в университетах, и чему угодно. Больше безпокоила мысль, что событій предотвратить не удастся. И это вносило много новаго и тревожнаго и в личную жизнь.

Конечно, я думал и о том, что сразу же буду мобилизован, так как мнѣ шел 21-ый год. Первый досрочный призыв и я в него попадаю!

У меня было много пріятелей в Иркутском военном училищѣ, которое только недавно перед тѣм перестало быть Юнкерским. И у меня были знакомые там, даже в преподавательском персоналѣ.

Город, между тѣм, как и вся Россія, все боль-

ше вбирался, всасывался в стихію наростанія мировых событій.

Ген. А. И. Деникин совершенно прав: никаких сомнѣній в том, что Россія дѣйствует так, как она при создавшихся обстоятельствах должна была дѣйствовать ни у кого тогда не было.

На глазах у всѣх совершалось чудо. Рушилась давняя стѣна непониманія и непреоборимаго отчужденія между властью чиновничьяго Петербурга и остальчой Россіей. Забывались обиды, испарялось раздраженіе.

Наростало то самое взаимное пониманіе и сочувствіе населенія поведенію верховной власти, которое, в день объявленія войны, вылилось в давно небывалое и неслыханное, яркое, дѣйствительное и полное, единеніе власти с народом.

Теперь уже я не припомню в подробностях, в какой послѣдовательности к нам поступали извѣстія, но кажется манифестаціи начались еще до офиціальнаго объявленія войны. Манифестаціи были преисполнены подъема.

Одну, большую и красивую, я захватил между зданіем Городского Театра и домом, в котором жил командующій войсками. Рѣяли над толпою трехцвѣтные флаги. Несли царскіе портреты. Плакатов еще кажется не было.

Манифестировали перед зданіем французскаго консула, перед домом бельгійскаго консула, каковым являлся добродушный поляк прис. пов. М. М. Стравинскій. Но больше всего манифестировали, конечно, в адрес Сербіи.

И, рядом с возгласами: «Да здравствует Россія», какой-то очень высокій молодой человѣк, про

котораго в толпѣ мнѣ сказали, что он Сила Бѣлоголовый, кричал:

— Да здравствует Сибирь!

Но это вряд-ли тогда, по тогдашним настроеніям, был признак опредѣленно подчеркиваемаго сепаратизма, всегда впрочем тлѣвшаго на поверхности мысли извѣстной части сибирской интеллигенціи. Но, я думаю, что странно-высокій молодой господин кричал свое:— «Да здравствует Сибирь» для того, чтобы показать, что и Сибирь тоже сочувствует общему желанію Россіи проучить зарвавшихся иниціаторов европейскаго пожара (впрочем, тогда, мы таким языком еще не выражались).

Когда война была объявлена, под вечер только пришла об этом телеграмма, мы так были всѣ готовы к этому и так уже устали от участія в хожденіях и от разговоров о налетѣвших событіях, что восприняли самое главное извѣстіе, как должное. Спокойнѣе, чѣм сами ожидали.

Каждый думал тогда вѣроятно тоже, что и я —что Россія не подстегивала войну, что Россія уступала, пока можно было уступать, что настроеніе общества было за то, чтобы поддержать престиж Россіи; тут всѣ сразу стали великодержавными. И если бы наше тогдашнее правительство пошло на дальнѣйшія уступки перед Германіей, то его могли и смести в мгновеніе ока. А если бы оно, все таки, вопреки всеобщему негодованію, которое тогда запылало бы, и удержалось у власти штыками полиціи и жандармов, то не было бы в то время другого такого непопулярнаго правительства на свѣтѣ...

Во всяком случаѣ всѣ сознательные элементы

Россіи в эти дни стояли плечом к плечу, от края и до края Россіи, сплоченные в едином порывѣ показать Германіи, что Россія не позволит над собою издѣваться и что дѣйствія правительства поддержаны и одобрены всѣм народом.

Как то вдруг, опять и мгновенно, стал очень популярен Государь. И тѣ, кто раньше не смотрѣли на его, всюду висѣвшіе как обязательная принадлежность присутственных мѣст, портреты теперь, охотно и бережно, эти портреты несли по улицам.

Дружескими стали отношенія у публики на улицах и с полицейскими чинами — тоже как-то очень просто эти два враждовавших стана помирились. И даже с жандармами лучше стали отношенія. Всѣ стали вдруг тѣм, чѣм должны всегда были бы быть, просто—русскими. А военные выросли в героев. Их останавливали на улицах, чтобы, так или иначе, выразить им знаки своего вниманія.

Потом, вот еще что меня поразило от тѣх дней. Стали закрывать германскія предпріятія и многіе из тѣх, кого мы считали «совсѣм русскими», на повѣрку оказались нѣмцами или австрійцами.

На Амурской улицѣ, в зданіи какого-то городского училища с садиком, за каменным, несплошным забором, устроили импровизированный лагерь для «военноплѣнных». В Иркутскѣ и военноплѣнные! Мнѣ это тогда сразу показалось небольшим преувеличеніем. Я ходил смотрѣть на этот «лагерь». Там было нѣсколько десятков мужчин, явно иностраннаго вида. Они чувствовали себя неловко! Читали книжки в заграничных переплетах и гуляли по садику.

Мнѣ было даже жалко этих мирных людей в

штатском, которых вдруг лишили свободы. Но я утѣшал себя мыслью, что «а ля гэрр комм а ля гэрр».

Так для меня началась война 1914 года, по старому стилю в іюлѣ мѣсяцѣ, в далеком от фронтов Иркутскѣ.

НАЧАЛО НАЧАЛ

Война на германском фронтѣ закончилась Брестским миром. По этому миру под контроль Германіи переходила Украина и даже часть Кавказа и, кромѣ того, Россія обязывалась уплатить Германіи контрибуцію. Не довольствуясь этим, нѣмцы, при помощи того же мира, тотчас названнаго в Россіи «похабным», устанавливали тарифы, которые задушили бы нашу промышленность. Нѣмцы осуществляли давній свой план овладѣнія Россіей, который, по всей вѣроятности, неискореним из их сознанія:— в книгѣ Адольфа Гитлера «Моя бороба» по вопросу об экспансіи на Восток вызсказываются тѣ же самыя мысли, которыя легли в основу наиболѣе тягостных и позорных пунктов договора, подписаннаго большевиками и нѣмцами в Брест-Литовскѣ.

Брестскій мир возстановил против большевиков всю сознательную и честно мыслившую часть Россіи. Конечно крестьянство осталось довольно безразличным, в своей массѣ, к условіям этого мира, а, в подавляющем большинствѣ, и не знало ничего толком о нем. Крестьянство в Россіи занято было захватом земли; сибирское-же крестьянство и подавно было равнодушно, так как аграрной революціи пока что в Сибири не наступи-

ло. Старожильческое крестьянство, в большинствѣ зажиточное и степенное, было против новшеств, но ничего не имѣло против того, что, с началом революціи, деревня как бы была оставлена городом временно в покоѣ; новоселы же, малоземельные, безлошадные и просто деревенскіе бѣдняки не получили еще к лѣту 18 года надлежащаго руководства из революціоннаго центра, не знали способов как им дѣйствовать против «кулаков». В деревнях появились солдаты с фронта, появились опять у себя в родных селах и хуторах ополченцы, ратники, короче, люди сверхсрочных призывов, которых за послѣдніе два года войны держали в казармах и, теперь, отпустили «на волю», но молодежь колобродила больше на словах, от слов не переходя к дѣлу. Люди же постарше были просто рады, что они вновь оказались среди своих. Словом, сибирская деревня к моменту сверженія совѣтской власти в Сибири в 1918 году, большевизмом как слѣдует еще не была задѣта и никаких особенных непріятностей от революціи не испытала.

В городах было положеніе другое: тут были и рабочіе, которые сразу стали сознательно гнуть влѣво и ремесленный элемент, мѣщанство и всяческіе представители полу-интеллигенціи, которые быстро, хлебнув от чаши с вином бунта, начинали стремительно пьянѣть властью и тѣ солдаты из «сознательных», кто остались по своему желанію в городах творить новую жизнь, и, наконец, германскіе и австрійскіе военно-плѣнные, которые в извѣстном числѣ влились в движеніе за поддержку совѣтов, латыши, а кое-гдѣ даже и отдѣльные представители «красы и гордости революціи»—матро-

сы из Кронштадта. В большинствѣ в Сибири совѣтстіе дѣятели перваго періода, публика была сѣрая, но желаніе править у них было весьма настойчивым, была и дисциплина в их рядах, была и увѣренность в том, что «широкія массы» с ними и за них, а Ленин всѣм царям царь.

Буржуазія (купцы, кое-какіе промышленники, высшее чиновничество) которую пока не очень трогали, хоронились по своим домам и старались не попадаться на глаза новой власти. Активными элементами против большевиков были, на поверхности, эс-эры, которые в Сибири стали на защиту областничества, а в подпольи офицерство, юнкера, часть студенчества, гимназисты старших классов, готовившіе, как умѣли, сверженіе Совѣтов.

Так, силами юнкеров, молодого офицерства, студентов и гимназистов и было проведено героическое возстаніе в Иркутскѣ, в концѣ 1917 года. А, потом, и в рядѣ других городов военная молодежь не сидѣла сложа руки — смѣльчаки забирались в склады оружія, овладѣвали винтовками, пулеметами, печатали прокламаціи против большевиков.

В мою задачу не входит писать исторію бѣлой борьбаы в Сибири, тѣм болѣе, что она давно уже описана во всѣх подробностях. Но в тѣх общихъ впечатлѣніях, которыя хранятся в памяти отъ того періода первых мѣсяцев послѣ установленія совѣтской власти в Сибири до выступленія чеховъ и сформированія Сибирскаго правительства, мнѣ особенно хочется подчеркнуть, что активная роль принадлежала молодежи и, при том, главным образом, военной молодежи, сознательным элементам

младших поколѣній, тогда как старшія поколѣнія, в особенности, бюрократія и купечество предоставили себя пассивно ходу стихійно развертывавшихся революціонных событій.

С самаго начала 1918 года мы знали (не всѣ, конечно, но тѣ, кому довѣряли), что возстаніе готовится, что существуют военныя организаціи, что установлена связь с чехами, что державы не собираются оставаться равнодушными к событіям в Россіи.

Хорошо помню день, кажется в мартѣ, когда телеграф сообщил о высадкѣ японскаго дессанта во Владивостокѣ: в университетском корридорѣ мы бесѣдовали по этому поводу с М. П. Головачевым, только что тогда занявшим кафедру международнаго права. Как не извращала, как не скрывала от нас совѣтская печать выступленіе в Дауріи атамана Семенова, но и об этом передавалось, во всѣх подробностях, из уст в уста. Когда, на общестуденческом митингѣ, в январѣ 1918 года, мы выбирали второго, добавочнаго представителя от студентов в Областную Думу, мы сознавали, что на карту ставится жизнь этого человѣка: первый студенческій депутат, Бѣляков, уже перешел на нелегальное положеніе.

Но вся эта подготовительная работа могла надолго еще затянуться, могла вообще кончиться провалом, так как большевики становились все болѣе бдительными и все рѣшительнѣе вводили мѣры преслѣдованія своих врагов, если бы не выступили нам на подмогу чехи. Чехов, от Самары до Владивостока, (они двигались кружным путем на французскій фронт, с согласія Троцкаго) мы считали

тогда до сорока тысяч. Западное их крыло находилось под командой Чечека, от Новониколаевска до Иркутска во главѣ чешских эшелонов стоял Гайда, а восточным сектором руководил ген. М. К. Дитерихс.

Меня чешское возстаніе захватило в Иркутскѣ. Про Гайду тогда разсказывали, что он чуть не в одиночку захватил в Новониколаевскѣ совдеп. Красные, однако, оказывали от Самары до Иркутска упорное сопротивленіе.

В Омскѣ во главѣ контр-революціонной воинской организаціи стоял полк. Иванов-Ринов. Он не был человѣком политически гибким, не проявил в момент возстанія особенной распорядительности и, если бы не появленіе молодого, талантливаго А. Н. Гришина-Алмазова, то сформированіе новой русской власти, центральной для Западной Сибири, могло бы значительно осложниться.

Сибирское движеніе прошло под бѣло-зеленым флагом и хотя, впослѣдствіи, и этот флаг и самая областническая идея, были подвергнуты, и справа и слѣва, всяческому заушенію, никто не может отрицать факта, что, по началу, бѣло-зеленый флаг был символом освобожденія Сибири от совѣтской тираніи и вызывал энтузіазм у той молодежи, которая подняла знамя возстанія.

Гришин-Алмазов, впослѣдствіи обратившій на себя вниманіе и на Югѣ Россіи, и так нелѣпо погибшій в іюнѣ 1919 года, (при попыткѣ прорваться из Екатеринадара, от Деникина, в Омск через красный фронт), у берегов Каспія, о чем подробно нам разсказал, слѣдовавшій непосредственно за ним, М. С. Лембич, был больше других военных под-

готовлен к роли возсоздателя воинской силы в Сибири, в противовѣс красной арміи.

В большую заслугу генералу Гришину-Алмазову историк поставит, что он прежде всего чувствовал момент и умѣл разбираться в обстановкѣ: он сознательно отказался от возвращенія воинским чинам погонов и считал невозможным возстанавливать орденскій статут, так как и погоны и ордена сразу отдавали молодую воинскую силу в руки военной бюрократіи, не только ненужной в условіях гражданской войны, но и опасной.

В Омскѣ, послѣ сверженія большевиков, приступает к работѣ Западно-Сибирскій комиссаріат, при нем создаются отдѣлы юстиціи, путей сообщенія, военный, финансов и т. д. Из личнаго состава тѣх, кто оказался во главѣ отдѣлов, создается впослѣдствіи Административный Совѣт, Западно-Сибирскій комиссаріат смѣняется Сибирским правительством, партійные эс-эры и непримиримые областники вродѣ Якушева вступают в конфликт с людьми болѣе умѣренных и дѣловых устремленій—все это хорошо извѣстно по тѣм данным, которые были опубликованы вскорѣ послѣ гибели бѣлаго движенія в Сибири.

Важно подчеркнуть, что движеніе, приведшее к освобожденію Сибири от совѣтской власти в 1918 году, было осуществлено при содѣйствіи чехов и что тѣ же чехи впослѣдствіи, в концѣ 1919 года, сыграли рѣшающую роль в ликвидаціи бѣлой власти, словно из поговорки: «я тебя породил, я и убью».

Но провал бѣлаго движенія не приходится объяснять, конечно, только уклончивой политикой ино-

странцев—основная причина неудачи глубоко заложена была в соотношеніи соціальных сил, была предопредѣлена общим ходом развертыванія стихійнаго революціоннаго процесса. Немалую роль в катастрофѣ бѣлаго движенія сыграли и ошибки тѣх, кто стоял во главѣ его.

Дальнѣйшее наше изложеніе, на основаніи указываемых фактов и суммированія личных впечатлѣній, пытается показать со всей возможной объективностью, в чем была сила и гдѣ коренилась слабость бѣлаго Омска.

Только исторія отдаленнаго будущаго подведет окончательный итог борьбѣ за Россію. На нашу долю выпадает одна довольно скромная задача — без ложнаго стыда признаться в своих ошибках и вмѣстѣ с тѣм воздать должное тѣм, кто мужественно приняли на свои плечи борьбу во имя Россіи и принесли себя в жертву этой борьбѣ!

«СВОЕОБРАЗНАЯ АНАЛОГІЯ»

Знакомясь, в началѣ октября 1934 года, по телеграммам, с подробностями событій в Испаніи, я лишній раз должен был придти к заключенію, что ничто не ново под луною!

Бывшій премьер—министр Испанской республики соціалист дон Мануэль Азана рѣшил поднять в Каталоніи возстаніе против центральнаго правивительства, которое сам раньше возглавлял и в котором восторжествовала идея коалиціи, а предсѣдателем совѣта министров стал человѣк болѣе умѣренных убѣжденій, Лерру.

Каталонія была объявлена независимой, появились плакаты с надписью «Долой Лерру», во всѣх

стратегических пунктах Барселоны были установлены пулеметы, по городу стали сновать грузовики с пулеметами, частные автомобили поспѣшно скрылись с встревоженных перекрестков, магазины закрыли свои двери, торговали только продовольственныя лавки, центральной власти пришлось двинуть регулярные войска против сепаратистов, началась бомбардировка дворца Генералидад, в котором укрывался штаб мятежников, и они, в концѣ концов, были принуждены сдаться.

Члены кабинета в Мадридѣ провели всю ночь в зданіи министерства внутренних дѣл, в ожиданіи вѣстей из Барселоны и когда пришло сообщеніе, что сопротивленіе сепаратистов сломлено, министры, в ажитаціи, вскочили со своих кресел, с возгласами: «Да здравствует Испанія!»

Теперь перенесемся ровно на семнадцать лѣт назад, в Сибирь, в город Омск, гдѣ, послѣ сверженія, при поддержкѣ чехо-словаков, совѣтской власти, было, как мы знаем, создано Сибирское правительство.

Верховная государственная власть в Сибири принадлежала совѣту министров Временнаго Сибирскаго Правительства, который, к моменту описываемых событій, 20-му сентября 1918 года, состоял из шести лиц, за девять мѣсяцнв до того избранных на тайном совѣщаніи членов Областной Думы, в Томскѣ.

Эти шесть лиц были слѣдующіе: П. В. Вологодскій, И. И. Серебренников, И. А. Михайлов, Б. А. Шатилов, Г. Б. Патушинскій и В. М. Крутовскій.

Из этих шести лиц предсѣдатель правительства,

П. В. Вологодскій находился на Дальнем Востокѣ, гдѣ должен был притти к соглашенію с тѣми, кто там возглавлял анти-совѣтскую власть: атаманом Семеновым, дѣловым кабинетом Д. Л. Хорвата и второй половиной Сибирскаго правительства, представленной с.-р. Дербером.

И. И. Серебренников находился в Уфѣ, в составѣ делегаціи на Государственном Совѣщаніи, которое как раз в эти дни избирало «всероссійскую власть», получившую впослѣдствіи наименованіе Директоріи, во главѣ с Н. Д. Авксентьевым. М. Б. Шатилов, заложник эс-эров в Сибирском правительствѣ, путанник и вздыхатель, находился в Томскѣ, под крылышком любезной ему эс-эровской Областной Думы, враждебно настроенной к правительству, ей же порожденному, Г. Б. Патушинскій, сибирская варіація Керенскаго, (даже по профессіи они были двояшками-адвокаты), только что поспѣшно и демонстративно отказался от своего портфеля министра юстиціи.

Наконец, Крутовскій, неоднократно заявлявшій о своем уходѣ с министерскаго поста, так как сам хотѣл играть первую скрипку, проживал в Красноярскѣ.

Таким образом, из всего состава совѣта министров Сибирскаго правительства в Омскѣ на лицо оставался лишь один министр финансов И. А. Михайлов.

Предвидя такое положеніе дѣл, Совѣт министров еще 7-го сентября, будучи в законном составѣ, издал постановленіе о передачѣ прав Совѣта министров, по разрѣшенію неотложных вопросов, на время отсутствія большинства его членов, Ад-

министративному Совѣту, учрежденному 24 августа и состоящему из управляющих министерствами и товарищей министров, под предсѣдательством министра снабженія И. И. Серебренникова.

Но, в виду отъѣзда И. И. Серебренникова в Уфу, исполненіе обязанностей предсѣдателя было передано И. А. Михайлову.

19 сентября в Омск прибыли министр туземных дѣл М. Б. Шатилов, министр внутренних дѣл В. М. Крутовской и предсѣдатель сибирской Областной Думы, сугубо партійный эс-эр, И. А. Якушев.

В состоявшемся 20 сентября засѣданіи Совѣта министров, в котором участвовали В. М. Крутовскій, И. А. Михайлов и М. В. Шатилов, министры Крутовскій и Шатилов высказались опредѣленно против направленія дѣятельности Административнаго Совѣта и намѣревались, вопреки состоявшемуся ранѣе рѣшенію совѣта министров, ввести в состав правительства, в качествѣ полноправнаго министра, А. Е. Новоселова, довольно извѣстнаго в Сибири литератора, человѣка эс-эровских убѣжденій, только что перед тѣм вернувшагося в Западную Сибирь с Дальняго Востока.

В ночь на 21-е сентября В. М. Крутовскій, М. Б. Шатилов, И. А. Якушев и, прибывшій с ними, «гражданин А. Е. Новоселов», как его именует официальное правительственное сообщеніе, были арестованы по постановленію уполномоченнаго командующаго арміей по охранѣ порядка и спокойствія, начальника гарнизона г. Омска полковника Волкова, по обвиненію в том, что этими лицами замышленно и приступлено к совершенію государственнаго переворота, направленнаго «против

государства Россійскаго и Временнаго Сибирскаго Правительства».

Арест, как заявляло правительственное коммюникэ, опубликованное послѣ событій, был произведен без вѣдома не только замѣстителя Предсѣдателя Совѣта Министров и Предсѣдателя Административнаго Совѣта И. А. Михайлова и самого Административнаго Совѣта, но и без вѣдома временно управляющаго военным министерством ген. — майора Матковскаго.

В тот же день от В. М. Крутовскаго и М. Б. Шатилова были получены прошенія об отставкѣ.

В 7 часов вечера 21-го сентября, непосредственно перед назначенным в тот день засѣданіем, были получены в зданіи Административнаго Совѣта, замѣстителем предсѣдателя Совѣта Министров и временно управляющим военным вѣдомством, от начальника гарнизона донесенія о произведенных арестах.

Административный совѣт, обсудив эти донесенія, единогласно постановил: немедленно освободить из под стражи В. М. Крутовскаго, М. Б. Шатилова и И. А. Якушева, а о дѣйствіях начальника гарнизона полк. Волкова сообщить командующему арміей.

«Вслѣдствіе, же, — как в трогательно макіавеллевском стилѣ гласило коммюникэ, — направленія дѣла начальником гарнизона об арестѣ Новоселова прокурору Омской судебной палаты, вопрос об освобожденіи Новоселова был признан подлежащим обсужденію названнаго прокурора».

Далѣе цитируем правительственное сообщеніе полностью:

«Прошенія В. М. Крутовскаго и М. Б. Шатилова об отставкѣ были разсмотрѣны Административным Совѣтом и условно удовлетворены, с направленіем дѣла об окончательном увольненіи их, а равно и министра Г. Б. Патушинскаго, в Совѣт министров, по принадлежности.

«Независимо от всего изложеннаго, в том же засѣданіи Административнаго Совѣта было вынесено постановленіе о перерывѣ занятій Сибирской Областной Думы и ея комиссій, вслѣдствіе несоблюденія ею установленнаго Совѣтом министров и президіумом Думы соглашенія о программѣ занятій Думы и крайней неполноты состава Думы, не пополненной до сих пор представителями цѣлаго ряда групп населенія согласно принятому самой Думой закону о пополненіи состава Думы. Постановленіе о перерывѣ занятій Думы принято Административным Совѣтом на точном основаніи постановленія Временнаго Сибирскаго Правительства от 7-го сентября, которым Административному Совѣту предоставлено право роспуска Думы, причем Административный Совѣт, объявляя перерыв занятій Думы, передал установленіе срока возобновленія занятій Совѣту министров. Перерыв занятій Сибирской Областной Думы находится точно также в полном согласіи с сообщеніем Предсѣдателя Совѣта министров П. В. Вологодскаго от 16-го сентября, увѣдомившаго по прямому проводу Административный Совѣт о возможности роспуска Думы.

В засѣданіи Административнаго Совѣта 23 сентября были доложены результаты экстреннаго разслѣдованія по поводу убійства конвоирами

гражданина Новоселова. В этом же засѣданіи товарищ министра внутренних дѣл А. А. Граціанов, посѣтившій В. М. Крутовскаго и М. Б. Шатилова по их освобожденіи, сообщил, что прошенія об отставкѣ, по объясненію В. М. Крутовскаго, им и Шатиловым были поданы под угрозой разстрѣла; далѣе, А. А. Граціанов, со слов того же Крутовскаго, сообщил, что Крутовскому и Шатилову, по освобожденіи их, было предложено лицами, их арестовавшими, требованіе покинуть г. Омск в теченіе 24 часов. Заявленіе В. М. Крутовскаго и М. Б. Шатилова о вынужденной подачѣ ими прошеній об отставкѣ и вынужденном их отъѣздѣ, а также невыясненность обстоятельств убійства А. Е. Новоселова, вызвали единодушное рѣшеніе Административнаго Совѣта о немедленном образованіи Верховной слѣдственной комиссіи из трех членов Административнаго Совѣта под предсѣдательством управляющаго министерством торговли и промышленности проф. П. П. Гудкова, в составѣ: временно управляющаго министерством народнаго просвѣщннія проф. В. Н. Саввина, исп. об. управляющаго дѣлами совѣта министров, представителя военнаго вѣдомства, представителей военнаго и гражданскаго прокурорскаго надзора и слѣдственной власти.

Наряду с этим, замѣститель Предсѣдателя Совѣта министров И. А. Михайлов обратился по телеграфу к командующему арміей, в г. Уфу, с категорическим предложеніем об устраненіи от должности начальника гарнизона города Омска и назначеніи разслѣдованія его дѣйствій, вслѣдствіе чего командующим арміей и было сдѣлано рас-

поряженіе об устраненіи от должности полк. Волкова и его арестѣ.

Утром 24 сентября начальником военнаго контроля полковником Зайчеком был арестован товарищ министра внутренних дѣл Граціанов, и была сдѣлана попытка арестовать замѣстителя Предсѣдателя Совѣта министров, министра финансов И. А. Михайлова.

По докладу полк. Зайчека, арест Граціанова и попытка ареста Михайлова произведены им по телеграфному распоряженію из Челябинска от чешскаго высшаго начальства.

В теченіе суток со времени ареста Граціанова, Административный Совѣт установил: во 1-х, что Верховная Всероссійская власть, сформированная уже к этому времени, не дѣлала распоряженій ни об арестѣ И. А. Михайлова, ни об арестѣ А. А. Граціанова, и 25-го сентября, утром, товарищ министра внутренних дѣл А. А. Граціанов из под ареста был освобожден, и не осуществлялись уже болѣе попытки к аресту Михайлова; и, во 2-х, что Верховная Всероссійская власть постановила вернуть к дѣятельности министров В. М. Крутовскаго и М. Б. Шатилова и прервать занятія Сибирской Думы.

25 сентября, в связи с изложенными выше событіями, от Предсѣдателя Совѣта министров Временнаго Сибирскаго Правительства из Владивостока получена на имя министра финансов И. А. Михайлова телеграмма с одобреніем дѣйствій и рѣшеній Административнаго Совѣта и с указаніем на необходимость производства разслѣдованія о дѣйствіях начальника гарнизона.

В вечернем засѣданіи Административнаго Совѣта 26 сентября было постановлено пополнить состав Верховной комиссіи одним представителем чехо-словацких войск и одним представителем от омскаго совѣта присяжных повѣренных.

Я нарочно, почти без комментарій, привожу изложеніе хода событій этого бурнаго эпизода из жизни Сибирскаго правительства, в офиціальной интерпретаціи, так как именно под этой внѣшностью осторожнаго «сообщенія для народа» теперь, через семнадцать лѣт, в ярких образах возникают всѣ перепитіи этой драмы, по своему напряженію и пестротѣ, ни чуть не уступающія испанским событіям октября 1934 года.

Только всему остальному міру в тѣ времена (сентябрь-октябрь 1918 года) когда заканчивалась, с небывалым еще послѣдним напряженіем европейская война и всѣ в Европѣ и в Америкѣ были заняты дѣлами Западнаго фронта союзников против Германіи—было некогда слѣдить за омскими событіями с тѣм вниманіем, какое недавно удѣлялось всѣм міром событіям в Испаніи, а, до того, событіям в крохотной Австріи, гдѣ жертвою путча пал «карманный Наполеон», канцлер Дольфус.

Но все относительно в мірѣ и Сибирь, даже одна только Западная Сибирь, в нѣсколько раз территоріально больше Испаніи. А, с развитіем воздухоплаванія, послѣ того, как, прежде никому ненужная, Аляска объявлена теперь «ключом к миру на Тихом Океанѣ», Сибирь в міровой политической обстановкѣ может играть роль куда болѣе значительную, чѣм Испанія.

И еще одна деталь—как не драматичен эпизод,

вышеизложенный, он обошелся всего одной жертвой, несчастным эс-эром, литератором Новоселовым, тогда как в Испаніи в октябрѣ 1934 года, во имя тѣх же цѣлей — возстановленія престижа центральной власти— лились цѣлые потоки теплой человѣческой крови.

НА ПУТИ В СТОЛИЦУ

Когда во Владивосток в, сентябрѣ 1918 года прибыли, делегаціей из Омска, П. В. Вологодскій, премьер Сибирскаго Правительства, проф. Г. Г. Тельберг, включенный в делегацію не столько по должности старшаго юрисконсульта при совѣтѣ министров, сколько потому, что вліятельный Г. К. Гинс хотѣл сдѣлать его редактором «Правительственнаго Вѣстника», Головачев, Мстислав Петрович и другіе, все публика, которую я хорошо знал по Томску, меня, оказавшагося в Хабаровскѣ, очень подмывало бросить службу и поспѣшить во Владивосток, на горячую работу.

Но «бросить службу» было не так легко. Учебный год уже начался; я состоял в преподавателях Хабаровскаго каметскаго корпуса, коммерческаго училища и 2-ой женской гимназіи, читая, сверх всего, лекціи по политической экономіи в народном университетѣ.

Через нашего общаго друга проф. Н. Я. Новомбергскаго, декана юридическаго факультета, у нас был сговор с проф. Головачевым о совмѣстной работѣ, в случаѣ переворота в Сибири. Он тогда был товарищем министра иностранных дѣл, при, скорѣе номинальном, министрѣ Вологодском, и вел всю техническую работу. Но педагогическая

работа затягивает. Как бросить классы в трех школах сразу. «Взялся за гуж...» Я порыв свой ограничил тѣм, что опубликовал ряд статей и отправил сановникам-друзьям письма.

Но вот в октябрѣ, послѣ избранія на Уфимском государственном совѣщаніи всероссійской директоріи, во главѣ с Н. Д. Авксентьевым, мужчиной рѣчистым и франтоватым, из Омска пришла мнѣ телеграмма, а потом, в подтвержденіе ея, и номер «Правительственнаго Вѣстника»:

—«Назначаетесь начальником отдѣленія департамента по дѣлам печати».

Я знал только одно, что этот департамент находится в вѣдѣніи проф. Новомбергскаго, который в составѣ россійскаго правительства стал товарищем министра внутренних дѣл. Отказываться или затягивать отъѣзд не приходилось. К серединѣ ноября, как только удалось раздѣлаться со школами, я был в Харбинѣ.

Здѣсь мнѣ было приказано задержаться, впредь до новых инструкцій. Харбин той поры представлял собою любопытную, впослѣдствіи уже неповторявшуюся, картину. Правительство ген. Хорвата, «дѣловой кабинет», только что перед тѣм вошло в соглашеніе с делегаціей Вологодскаго, о сліяніи. Д. Л. Хорват признал и уфимскую директорію, как до того, признавал Временное Правительство в Петербургѣ, движимый единственным желаніем сберечь для Россіи то огромное національное богатство, которое ему было ввѣрено, буквально с незапамятных времен, законной всероссійской властью в Маньчжуріи.

Члены «дѣлового кабинета» продолжали еще

играть роль, особенно Глухарев, шли совѣщанія в Харбинѣ, шли совѣщанія в Пекинѣ и совѣщанія во Владивостокѣ. Город был переполнен офицерами, из тѣх, которые не спѣшили «подаваться» на фронт и, вообще, хотѣли осмотрѣться, гдѣ же, в концѣ концов, создается настоящій бѣлый центр. В городѣ было много и штатских, понаѣхавших в Харбин из Россіи, бывших чиновников из разных городов и бывших дѣльцов, которые тоже унюхивали, толкаясь по корридорам управленія дороги, ситуацію и соображали, куда им двинуться: в Омск, претендующій на великодержавность, в Читу, гдѣ крѣпло японское вліяніе, во Владивосток, гдѣ развивались флаги всѣх союзных нам держав или, пока не изсякли средства, выжидать в Харбинѣ, гдѣ все так сытно, тихо, безопасно и гдѣ сраженія происходят, главным образом, за рюмкой водки в ресторанах и за карточными столами в клубной «дѣтской». Кромѣ русских искателей капризной в революцію фортуны, только что переставших подпирать мѣстное правительство и, вот-вот, опять собиравшихся чѣм-то и кѣм-то «править», в Харбинѣ этой эпохи было много иностранцев, разных форм офицеров, американских инженеров в военной формѣ, присланных в изобиліи для помощи русским желѣзным дорогам, и застрявших в Харбинѣ; корреспондентов и каких-то шикарно-одѣтых дам, явно столичнаго пошиба, вообще публики, которая всегда слетается, как воронье, в безопасный тыл войны гдѣ открыты возможности: головокружительной карьеры, легкой наживы, веселых нравов и прибыльнаго ничегонедѣланія.

Когда я попал, помню, в харбинское Желѣзно-

дорожное собраніе, на оперетку я думал, осматривая эту нарядную, надушенную, преисполненную чувством собственнаго достоинства, толпу, что между ними и стихіей революціи, которая сжигала на своем огнѣ Россію, нѣт ничего общаго.

Штабные военные в больших чинах, полковники и генералы, с малиновым звоном шпор, в элегантных френчах, желѣзнодорожные верхи в смокингах, или, по россійскому обычаю, в визитках, дамы в подчеркнуто модных туалетах и обильных брилліантах, упитанные харбинскіе обыватели из служилых кадров Ка-Ве-же-де, учащіеся старших классов, хорошенькія гимназистки и «коммерсанточки» в формах, сохранявших старорежимную опрятность, все это было так непохоже на то, что я видѣл, на протяженіи всего тогдашняго суматошнаго 1918 года в Томскѣ, в Иркутскѣ, Читѣ и Хабаровскѣ.

Пѣли на сценѣ хорошо, кормили в буфетѣ Желѣзнодорожнаго собранія еще лучше и все кругом свидѣтельствовало о том, что всероссійская революція и только что оборвавшаяся борьба всего міра против Германіи,—это одно, а утробный, благополучный, спокойный и милый Харбин, столица счастливой «Хорватіи»,—совсѣм другое.

Встрѣтил я там тогда многих знакомых из Владивостока, звали туда, через другія знакомства получил я, почему то вдруг, предложеніе поступить на хорошую службу в Т. Д. Чурин и Ко, тут же кто-то из прежних товарищей по гимназическим годам, горячо мнѣ совѣтывал «плюнуть на Омск и ѣхать к Семенову», но я стоял твердо на своем: снялся в Хабаровскѣ с мѣста в направле-

нiи на Омск и должен быть в Омскѣ.

Телеграммы об арестѣ директорiи, о врученiи власти адмиралу А. В. Колчаку никого как будто в Харбинѣ особенно не поразили. Правда, в нѣкоторых сферах и по ресторанам ставился вопрос:

—Почему Колчак, а не Хорват?

Но Д. Л. Хорват быстро признал и адмирала Колчака, а я получил из Омска по телеграфу приказ явиться к военному министру ген. Н. А. Степанову, который только что прибыл в Харбин из Японiи и, вмѣстѣ с ним, слѣдовать в новую столицу власти, именовавшей себя подчеркнуто всероссiйской.

Дѣло было под вечер и на Цицикарской, гдѣ жил омскiй «военмин», только что запорошенной свѣжим снѣжком, не было ни души, когда я двинулся от Степанова к себѣ домой, зная точно, когда мы ѣдем, кого надо перед отъѣздом повидать, что сдѣлать, какiя бумаги закончить. Мнѣ не было жаль бросить Харбин. Развѣ из этого безпечальнаго города можно служить Россiи в дни ея великих потрясенiй? Но я знал заранѣе, что снова с головой ухожу, кидаюсь опять в самую гущу политики и что пока из этой гущи не вынырну, частной жизни не будет, а в то, что со мною случиться, думал я, заглядывать не надо. Кисмет!

Мы уѣзжали из Харбина торжественно, цѣлым поѣздом: «поѣзд военнаго министра». Ген. Степанов, очень суматошный и очень милый человѣк, уже немолодой и переучившiйся за свою долгую офицерскую жизнь во всѣх возможных военных школах Россiи, брал с собой в Омск начальника главнаго штаба и помощника военнаго министра ген.

В. I. Марковскаго, оба слѣдовали с женами; со мной в просторном купэ вагона перваго класса помѣстился молодой капитан Петров, с полукитайаким желтым лицом при орлином носѣ, очень высокій и сильный, который дѣтски трогательно обожал адмирала Колчака, в адъютантах у котораго служил, когда адмирал пытался формировать пѣхотныя части в Харбинѣ, до своего отъѣзда в Шанхай и, дальше, по пути в Месопотамію.

Ѣхало с нами в спеціальном поѣздѣ много других офицеров: полковники, подполковники, капитаны, всѣ еще в старых царских чинах, в большинствѣ кадровые, которых Степанов и Марковскій везли в свое министерство и главный штаб или соглашались доставить в тот или иной пункт, по мѣсту прикомандированія.

У меня создалось впечатлѣніе, что этот генеральскій поѣзд нарочно был укомплектован солидными офицерами, чтобы с нами ничего в Читѣ не посмѣли сдѣлать. Кромѣ того, мы выждали еще, когда в Читу прибудет Жанен, что также служило гарантіей на случай самоуправства. Чита как раз вела в эти дни телеграфную войну с державным Омском.

Оправданный судом свергатель директоріи полк. Волков был, к общему удивленію, произведен в генерал-майоры и пытался или дѣлал вид, что пытался выполнить знаменитый тогда приказ № 61 верховнаго правителя и верховнаго главнокомандующаго адмирала Колчака в адрес непокоренной Читы. Вот он, этот историческій документ.

Параграф 1-й: Командующій 5-м отдѣльным пріамурским армейским корпусом полковник Семе-

нов за неповиновеніе, нарушеніе телеграфной связи и сообщеній в тылу арміи, что является актом государственной измѣны, отрѣшается от командованія 5-м корпусом и смѣщается со всѣх должностей, им занимаемых.

Параграф 2-й: Генерал-майору Волкову, Сибирскаго казачьяго войска, подчиняю 4-й и 5-й корпусные районы во всѣх отношеніях на правах командующаго отдѣльной арміей, с присвоеніем прав генерал-губернатора, с непосредственным мнѣ подчиненіем.

Параграф 3-й: Приказываю генерал-майору Волкову привести в повиновеніе всѣх неповинующихся Верховной власти, дѣйствуя по законам военнаго времени».

Ат. Семенов этого приказа не испугался. И, вскорѣ послѣ его опубликованія, мы, спеціальный поѣзд военнаго министра, слѣдовавшій в Омск, приближаясь к Читѣ совсѣм были увѣрены, что наш паровоз отцѣпят, а нас поставят на запасный путь, в тупик, впредь до выясненія ситуаціи.

Впослѣдствіи, мы не раз обсуждали, на эмигрантских досугах, с Г. М. Семеновым этот приказ и его в тот момент позицію и я всякій раз приходил к заключенію, что сговор был возможен и что Омск напрасно поторопился, не учтя всѣх сил и противорѣчивых вліяній, дѣйствовавших на Дальнем Востокѣ и слишком полагался на силу слов, терявших половину своей убѣдительности, когда их передавали депешами в лентах, плохо выстуканных, не без труда разбираемых слов.

Ничего с нами Чита не сдѣлала! Простояли мы там с час. Один паровоз замѣнили другим, генерал

Степанов переговорил по телефону с генералом Жаненом и мы отправились дальше. Двигались не спѣша, так как попутно вездѣ, в мѣстах скопленія частей, производился инспекторскій смотр.

Питались мы самым скудным образом в станціонных буфетах, вмѣсто электричества горѣли в купэ стеариновыя свѣчи, паровое отопленіе временами совсѣм не дѣйствовало, в уборной вмѣсто раковины умывальника было пустое мѣсто и вода из крана лилась прямо на обитый жестью пол.

То впереди нас, то в тылу вспыхивали на желѣзнодорожных станціях возстанія или появлялись на полотнѣ партизаны, так что приходилось останавливаться, иногда на пол-суток, чтобы дождаться свѣдѣній от очередного карательнаго отряда, что положеніе возстановлено, можно слѣдовать дальше.

Особенно тревожным было при нас положеніе под Иркутском, на сосѣдних Черемховских копях. Впереди нас шел броневик. Чехи тогда были расквартированы еще не вездѣ. Большинство чехо-войск находилось по близости к фронту на Уралѣ, нѣкоторыя части даже еще сражались. Там, гдѣ стояли чехи, опасности было меньше, но безпорядка больше, так как чехи дѣйствовали сами по себѣ и часто вопреки распоряженіям русских воинских и желѣзнодорожных властей.

А тут еще, когда мы уже оставили Иркутск и прослѣдовали через Красноярск, на путях к ст. Тайга и Томску, до нас дошли, по прямому проводу, вѣсти о подробностях возстанія в Омскѣ, случившагося 22 декабря, когда агенты большевиков подняли рабочих в пригородном поселкѣ Куломзи-

но и, одновременно, ловким трюком, освободили арестованных из областной тюрьмы. Возстаніе было сурово подавлено, но были и напрасныя жертвы: члены Учредительнаго Собранія Фоміш и Девятов, редактор Маевскій из Челябинска и др. Чехи со мною об этом в Ново-Николаевскѣ говорили очень рѣзко, осуждая, в первый раз открыто, новую власть и предсказывая, что европейское общественное мнѣніе террора ради террора не одобрит.

Тут же мы узнали, опять таки по прямому проводу, что Адмирал тяжело и опасно заболѣл острой простудой и нашему министерскому поѣзду было предложено, оставив инспекторскіе смотры, на всѣх парах спѣшить в Омск, гдѣ мог опять возникнуть вопрос о власти.

Кап. Петров пришел в этот вечер в купэ, которое едва освѣщалось единственной свѣчой, коптившей в фонарѣ сверху, и нервно разсказал, со слов встрѣченнаго им офицера из Омска, что Адмирал простудился потому, что ѣздил по казармам в легонькой солдатской шинели и когда ему сказали, чтобы он одѣвался теплѣе, то он рѣзко оборвал:

— «Пока наши солдаты ходят раздѣтыми я о себѣ заботиться не имѣю права».

Это были первыя живыя слова Адмирала, которыя я воспринял еще не видя его, но уже находясь в непосредственной от него близости, у него на службѣ.

Кап. Петров заразил меня своим восхищеніем и когда, в ночь на 1-е января 1919 года, я опять вышел на перрон знакомаго вокзала в Омскѣ, чтобы

остаться в этом городѣ безвыѣздно, на протяженіи семи мѣсяцев, я знал, что в пантеонѣ моих героев, отнынѣ и навсегда, останется адмирал Колчак, свѣтлую память о котором я бережно храню по сей день.

Омскій вокзал в эту новогоднюю, такую странную, ночь представлял собою жуткое зрѣлище.

Был мороз, свирѣпый сибирскій ночной мороз с вѣтром, нижущим, несмотря на шубу, до костей. Вокзал, даже платформа, были переполнены людьми. На девяносто процентов это были в общем мѣсивѣ, солдаты и офицеры, при чем послѣдних не легко было издали отличить—тѣ же папахи и погоны из сукна.

Во всѣх помѣщеніях вокзала, в третьем классѣ, как и в залѣ перваго, на всѣх скамьях, на стульях, на полу сидѣли военные. Это напоминало или отправку эшелонов на фронт или какую то подготовку к бунту.

Солдаты были в большинствѣ молодежь, как переодѣтые гимназисты, а офицеры тоже немногим постарше и я быстро почувствовал, что здѣсь царят настроенія как раз противоположныя бунту, что это бѣлая рать и при том отборныя ея части.

Это были дѣйствительно тѣ самые первые сибирскіе кадры, которые героическим переходом, во главѣ со своим любимым 27-ми лѣтним Пепеляевым, не только забрали Пермь, но еще и окружили врага в мѣшок, наводя панику на лучшія части красной гвардіи.

О новом годѣ никто не говорил, эта мелочь никого тогда не занимала. Послѣ офиціальной встрѣчи, я вернулся в поѣзд и нас стали переда-

вать на Вѣтку. Об омской знаменитой Вѣткѣ, ея внѣшности, смыслѣ, значеніи и обитателях, надо поговорить в особицу.

САНОВНИКИ НА ВѢТКѢ

1 января 1919 года я проснулся в вагонѣ, на омской Вѣткѣ. Народилась она, этот ряд запасных путей и тупичков, по сосѣдству с внушительным и просторным зданіем управленія желѣзной дороги, занятым, в эпоху омскаго правительства, Ставкой Верховнаго.

Я вышел из купэ в корридор, протер заиндевѣвшее окно и первое, что увидал, был повар, на площадкѣ сосѣдняго вагона. Повар был внушительный: в поварском одѣяніи, рукава засучены, на головѣ поварской колпак, черные, какіе-то не русскіе, усы, и он проворно ножем чистил рыбу.

Я знал, еще со вчерашняго дня, что наши вагоны поставят рядом с составами дипломатических миссій и потому без труда догадался, что это поѣзд высокаго комиссара Франціи Реньо, котораго вскорѣ смѣнил в Омскѣ граф де Мартель.

Тут же, по сосѣдству, находился в своем поѣздѣ высокій комиссар Великобританіи, сэр Чарльз Элліот, наѣзжал на Вѣтку то из Владивостока, то с уральскаго фронта ген. Альфред Нокс. Вскорѣ рядом с нами стал состав ген. Жанена, с его начальником штаба полк. Бюксеншюц и адъютантом Пѣшковым, про котораго всегда добавляли—«сын Максима Горькаго». Пѣшков, небольшой, рано лысѣющій, с глазами, как двѣ маслинки, в щегольском свѣтло сѣром доломанѣ, был, впрочем, только пріемным сыном Максима Горька-

го и братом Свердлова предсѣдателя ВЦИК-а, того самаго, который подписал приказ о разстрѣлѣ Царской Семьи.

Всѣ посольскіе составы и отдѣльные вагоны на Вѣткѣ я, конечно, не разсматривал, времени в Омскѣ всегда не хватало, но тут же проживали, в разное время, разные представители чехов д-р Гирса, ген. Чечек, ген. Сыровой; оставившій по себѣ (едва ли не единственный) свѣтлую память ген. Стефанек, так безвременно угасшій; адмирал Танака, а, потом, омская Вѣтка видѣла чрезвычайнаго посланца президента Вильсона г. Морриса, прибывшаго с тѣм самым ген. Грэйвсом, который постоянно проживал во Владивостокѣ и очень сочувственно относился к большевикам, державшимся на Сучанѣ. Ген. Грэйвс недавно опубликовал свои мемуары о «Сибирской экспедиціи», гдѣ постарался затушевать свою двуликую политику, но, во всяком случаѣ, не подлежало сомнѣнію одно, что главную задачу свою, как командующій Американскими экспедиціонными войсками, ген. Грэйвс видѣл в том, чтобы, всюду и вездѣ, ставить палки в колеса японскому командованію.

Что бы потом не писал ген. Грэйвс, вот его интервью от 8 апрѣля 1920 года, тотчас по оставленіи Владивостока. Оно и теперь говорит само за себя и, прежде всего, оно демонстрирует, каковы были взгляды и чувства части руководителей интервенціи, которая и по заданіям и по существу должна была осуществлять помощь бѣлым против красных.

«Если японцы оставят Сибирь, то положеніе в Россіи само собою улучшится», заявил генерал-

майор Вильям С. Грэйвс, бывшій командующій американскими экспидиціонными войсками в Сибири, прибывшій 8 апрѣля 1920 г. в Манилу, на борту военнаго транспорта «Грэт Норден», корресподенту газеты «Манила Дэйли Бюллетень».

«Мир в Россіи несомнѣнно наступит, сказал генерал Грэйвс, но присутствіе японцев мѣшает его осуществленію. Большинство населенія—большевики. Остальные, воспитанные в духѣ стараго режима, принадлежат к колчаковской группѣ. Между прочим, «большевизм» совершенно неправильно истолковывается в Соединенных Штатах и, как я полагаю, здѣсь тоже. При упоминаніи слова «большевик», в представленіи слушателя вырастает образ угрюмаго анархиста с бомбой в одной рукѣ и факелом в другой. Но большевики в Россіи работают в пользу мира и процвѣтанія своей страны. По моему убѣжденію, они проявляют исключительную честность и справедливость к народу. Они глубоко сожалѣли о кровопролитіи и о тѣх жертвах, которыя пали до того момента, когда они вновь пришли к власти — 31 января текущаго года, — и они прилагают всѣ усилія к тому, чтобы искоренить это явленіе в будущем. Я лично считаю, что большевики в Россіи составляют 95 процентов населенія, а в Сибири даже 98 процентов.

«Анти-большевики, приверженцы старой династіи, не желают ухода японцев, прибавил генерал, по той простой причинѣ, что они боятся потерять всѣ огромныя концессіи и преимущества, которыми так щедро награждал их царскій режим до Великой Россійской Революціи».

Но к поведенію части союзнаго командованія

мы еще вернемся. Сейчас мы на Вѣткѣ, в період, когда интервенція переживала еще медовый мѣсяц отношеній с бѣлой властью в Омскѣ.

Особенно памятным на Вѣткѣ персонажем был полк Ворд, командовавшій отрядом канадцев, член парламента от рабочей партіи, которая тогда была очень лѣв ›й (о лѣвизнѣ лабористов можно судить по тому, что их лидер тогда, Рамзай Макдональд, в 1918 году рекомендовал ввести в Англіи совѣты). Тѣм болѣе цѣнной была позиція исключительной дружбы к адмиралу Колчаку и, вообще, к бѣлому движенію, которую настойчиво подчеркивал полк. Ворд в своих застольных рѣчах и бесѣдах с репортерами.

Вообще англичане в Омскѣ почитались «самыми симпатичными». Они не вмѣшивались, подобно Жанену, попавшему в плѣн к чешским политиканам, в распоряженія русской власти, они не были заинтересованы в соревнованіи за счет если не Сибири, то русскаго Дальняго Востока, что красной нитью проходило во взаимоотношеніях американцев и японцев, они, наконец, были очень удачно в Омскѣ представлены.

Если не считать сэра Чарльза Элліота, ученаго океанографа и востоковѣда, на вид замкнутаго, холоднаго человѣка, плохо скрывавшаго свое недовѣріе к «омской комбинаціи», то от лица Англіи черчиллевскаго, а не ллойд-джоржевскаго типа в Омскѣ выступали трое: уже упомянутый полк. Ворд, генерал, нынѣ сэр и член парламента, Альфред Нокс, и, пріѣхавшій для духовной связи, славяновѣд — профоссор, тоже сэр теперь, Бэрнад Пэрс.

Затѣм, самое присутствіе в Омскѣ хотя и горсточки (по сравненію со стихіей народных масс, вовлеченных революціей в междоусобіе),—рослых, бравых, дисциплинированных канадцев в их характерных головных уборах с мѣхом, наполняло трепещущее сердце омскаго обывателя наивной вѣрой, что пока «англичане с нами» ничего особо сквернаго не случится. Так как будто и оказалось впослѣдствіи.

Первый день мой в Омскѣ прошел как-то сумбурно, в визитах, а 2-го января я отправился с генералами Степановым и Марковским осматривать зданіе, которое только что было отведено им под военное министерство.

Этим зданіем оказалось коммерческое училище, расположенное в центрѣ города и, подобно другим нашим коммерческим училищам в Харбинѣ, во Владивостокѣ и в других городах, представлявшее собою образец зданій, в которых надлежет размѣщать школы: просторные, свѣтлые коридоры, еще болѣе свѣтлые, просторные классы, внушительный вестибюль и т. д.

На всю жизнь, в связи с этим осмотром, врѣзались в мою память двѣ картины: омское коммерческое училище, которое мы осматривали со Степановым и Марковским 2-го января, еще сохранившее всю видимость школы: с партами, классными досками и назидательными картинами из русской исторіи по стѣнам, и то же самое зданіе, когда я туда попал недѣли через три, на пріем к министру, когда оно стало военным министерством!

Какой разительный контраст: ни парт, ни классных досок, всѣ двери в коридор из бывших клас-

сов наглухо заперты, стекла в дверях изнутри тщательно закрыты синей бумагой, вездѣ надписи отдѣлов и отдѣленій, всюду сакраментальное: «без доклада не входить» и только изрѣдка по корридору проплывал тот или иной штабной авгур с папкой дѣл «входящих» и «исходящих».

Этакая быстрота оборудованія или, вѣрнѣе, превращеніе провинціальнаго коммерческаго училища в столичное военное министерство, может быть, при других обстоятельствах, могла бы и восхитить, но тут, сразу, на меня пахнуло такой нелѣпой канцелярщиной, таким подчеркнутым бюрократизмом, таким фатальным несоотвѣтствіем того, что требует кровавая горячка гражданской войны и что устроили тут, в безопасном, пока что, тылу г. г. военные бюрократы, что мной овладѣл ужас.

Посѣщеніе, в этот второй визит, кабинета военнаго министра ген. Н. А. Степанова еще больше укрѣпило меня в мысли, что эти «старые генералы» во всяком случаѣ не понимали или не хотѣли упрямо понять, что происходило кругом них, что такое революція, на какую работу они были поставлены и т. д.

Из простого, милаго, радушнаго, каким я знал Степанова по совмѣстному путешествію из Харбина до Омска, он превратился вдруг в заправскаго министра. Он сидѣл за письменным столом, заваленным бумагами, у него под рукой было нѣсколько, порядком подержанных, телефонных аппаратов, он уже не разговаривал с вами, а «принимал вас» и, в то же время, он все время отрывался от дѣлового разговора для каких то дополнительных дѣл: звонил в один телефон, отвѣчал в

другой, что то искал в бумагах, перед ним лежавших и, вообще, суетился зря. На меня этот визит произвел настолько тяжкое впечатлѣніе, что, мысленно окрестив ген. Степанова «сумбур пашей», я больше в военном министерствѣ не был ни разу, за всѣ семь мѣсяцев пребыванія в Омскѣ и когда мнѣ было нужно «военмина», ходил к нему на квартиру; жил он в домѣ д-ра Яцкина.

Ген. Степанов, кажется в маѣ, пал жертвой интриг в совѣтѣ министров предварительно сам, перед своим паденіем, приняв участіе в интригѣ, которая повлекла за собою уход в отставку энергичнаго министра внутренних дѣл А. Н. Гаттенбергера, который всѣм был хорош, кромѣ того, что он представлял собою «сибирскіе корни», а к серединѣ 1919 года Омск рѣзко подѣлился на тѣх, кто был «от Сибири» и на тѣх, кто прибыл сюда «из Россіи» и кто забирал все больше вліянія в «омской комбинаціи».

В тот-же первый мой визит в намѣченное зданіе военного министерства, я прослѣдовал, в находившееся неподалеку, министерство внутренних дѣл./Кстати, по Омску ходил удачный анекдот слѣдующаго содержанія: «в чем разница между Петербургом и Омском? В Петербургѣ всѣ знали, гдѣ находится какое министерство, но очень трудно было встрѣтить министра, в Омскѣ министры встрѣчаются на каждом шагу, но очень трудно найти министерство». И, в самом дѣлѣ, — если послы «союзных держав» проживали в вагонах на Вѣткѣ, то министерства ютились в случайных помѣщеніях, а министрам приходилось жить по реквизированным у обывателей комнатам.

Министерство внутренних дѣл находилось, если не измѣняет мнѣ память, в зданіи Областного управленія, на той самой площади, гдѣ находился и Сенат (да в Омскѣ был и Сенат!) занявшій очень внушительное, новой стройки, зданіе судебных установленій.

Помѣщеніе «минвнудѣл» было вмѣстительным, но мрачноватым: приземистое, в стилѣ кардегардіи николаевских времен, оно, кромѣ собственно министерства, давало пріют и областному управленію, и департаменту по дѣлам печати, куда я был назначен «начальником отдѣленія», и даже правительственному информаціонному бюро.

Первым дѣлом здѣсь я поспѣшил нанести визит тому, кто меня в Омск вызвал, проф. Н. Я. Новомбергскому. Он измѣнился за тѣ мѣсяцы, что мы с ним не видѣлись, когда обстоятельства заставили меня, в срочном порядкѣ и полунелегально, покинуть Томск, еще при большевиках. Осунулся, посѣрѣл. Сразу сказал, что собирается подать в отставку:

— Не вижу путей к плодотворной работѣ, —говорил он своим пріятным «лекціонным» баритоном, — за предѣлами Омска сумятица и полнѣйшій произвол, здѣсь интриги и интриги. Вот, вы посмотрите эту публику!

И он, со злобой, стал говорить о министрѣ финансов, тогда всесильным или казавшимся таковым, И. А. Михайловѣ:

— Вы увидите этого нашего Маккіавелли, с розанчиками на щеках!

— А как на счет помѣщенія, гдѣ мнѣ жить, комнаты? На Вѣткѣ очень далеко ..

Николай Яковлевич, милѣйшій и обязательнѣйшій, тотчас рѣшил притти мнѣ в этом отношеніи на помощь. Он сам позвонил в управленіе коменданта, справился о тѣх комнатах, которыя можно было надѣятся «реквизировать» и когда это ни к чему не повело, сказал, разводя руками:

— Что будешь дѣлать! Товарищ министра внутренних дѣл становится в тупик, гдѣ устроить на ночлег своего подчиненнаго. Мнѣ самому, одно время, пришлось ночевать в конурѣ у швейцара, под лѣстницей, да, да, вот здѣсь, в министерствѣ. А, вот что, пошлю ка я вас к Кадыш, он городской голова, и мой добрый знакомый. Дом у них большой, авось что нибудь придумают.

Но вмѣсто Кадыш мнѣ предоставили комнату, реквизированную комендантом у прис. пов. Титова.

ОРГАНЫ ОСВѢДОМЛЕНІЯ

Когда, еще через день, я явился в министерство внутренних дѣл для работы, то узнал, что наш департамент по дѣлам печати все еще пребывает в «порядкѣ формированія» и, что меня особенно поразило, никаких информаціонных функцій исполнять не предполагает, а ставит себѣ задачей наладить на территоріи правительства, от Камы до Владивостока аппарат цензуры.

— Какое же учрежденіе у вас, в Омскѣ, осуществляет информаціонную работу, ведет пропаганду, занимается агитаціей? — спросил я.

Мнѣ отвѣтили уклончиво: есть информаціонное бюро, есть освѣдомительный орган в ставкѣ, существует РТА — телеграфное агентство. Кое что дѣлает в этом же направленіи и министерство

иностранных дѣл. Туда как раз у меня было письмо, к товарищу министра Г. К. Гинсу. Я поспѣшил к нему. Гинс, годами молодой, державшійся не по-министерски просто и спокойно, принял меня внимательно и подробно разспрашивал о положеніи дѣл на Дальнем Востокѣ.

Я обстоятельно изложил ему о разноголосицѣ в органах печати, о той систематической травлѣ, которая ведется на Дальнем Востокѣ против омской власти, о полной неосвѣдомленности иностранных корреспондентов в Харбинѣ и Владивостокѣ о том, что дѣлается в Омскѣ — не налажено видимо у Омска никакой связи ни с Токіо, ни с Пекином, не товоря об Америкѣ и Европѣ.

— Все это очень интересно, — сказал Г. К. Гинс, — могли бы вы повторить все, что мнѣ разсказали сегодня вечером, я устрою совѣщаніе руководителей министерства, по информаціонному вопросу.

Я охотно согласился и прибыл в назначенный час, нѣсколько болѣе подготовленный к докладу. Министерство иностранных дѣл в Омскѣ занимало бывшій дом губернатора: это было зданіе в один этаж, с рядом просторных комнат и с довольно импозантным входом.

В кабинетѣ министра собрались: Г. К. Гинс, который, послѣ ухода проф. Ю. В. Ключникова, руководил министерством, И. И. Сукин, котораго окруженіе адмирала прочило в управляющіе министерством, что через нѣсколько дней и случилось, товарищ министра Жуковскій, «единственный настоящій», как про него говорили (он много лѣт занимал должность генеральнаго консула, перед вой-

ной в Прагѣ) нѣсколько директоров департаментов и др. Когда мнѣ было дано слово, я сдѣлал свой доклад, нарисовав мрачную картину гнетущей неосвѣдомленности за-границей об Омскѣ, его борьбѣ и его политической программѣ.

— Критиковать легко, — сказал мнѣ не без яда Сукин,—и то плохо и это... А вот вы бы взяли и помогли нам! Вы журналист? У нас есть бюро иностранной информаціи .. Послѣ ареста Директоріи там остались однѣ милыя дамы. Онѣ что-то сочиняют, что-то переводят, что-то отправляют. Это надо организовать! Беретесь за это дѣло?

Так состоялось мое назначеніе директором бюро иностранной информаціи. Из министерства внутренних дѣл я ушел без сожалѣнія, налаживать аппарат цензуры меня мало увлекало.

Далѣе я узнал, что во главѣ информаціоннаго аппарата в Омскѣ, еще со времен сибирскаго правительства, стоял А. И. Манкевич, молодой господин соціалистической внѣшности, как всѣ эс-эры у власти, большой сибарит, характера вкрадчиваго, с наклонностью к тонкой интригѣ. Он дружил с одіозным эс-эром Евгеніем Францовичем Роговским, Дзержинским при Директоріи, но сумѣл удержаться на своем отвѣтственном посту и послѣ врученія власти Адмиралу. Он был достаточно близок к Гинсу, во всяком случаѣ эту близость подчеркивал и восхищался умѣніем Гинса составлять интервью для печати и заявленія от лица власти.

Манкевич принял меня достаточно мило. Объяснил, что иностранная информація у него плохо налаживается, потому что нѣт руководителя, сам

он занят срочной работой по телеграфному агентству, много времени отнимают у него нужды фронта, приходится бороться со Ставкой, с военным министерством, которое только еще формируется, но уже завело свой собственный информаціонный отдѣл. Есть информаціонный отдѣл при министерствѣ иностранных дѣл. Выпускает информаціонныя изданія и отдает параллельные приказы «Осканверх». Военные вообще рѣшительно против того, чтобы работа освѣдомленія и антибольшевисткая пропаганда велась штатскими. Сами они это дѣло централизовать не могут, и ничего в нем не понимают, но денег тратят уйму. При каждой арміи имѣется отдѣльный информаціонный отдѣл. Однѣ листовки и обращенія к населенію говорят одно, другія другое, от этой какофоніи в головах и солдата и обывателя сумбур стоит страшный.

— Теперь мнѣ дали помощника, в лицѣ доцента Сверженскаго, мы его назначили директором Россійскаго Телеграфнаго Агентства, а вы нам наладите аппарат освѣдомленія за-границы!

Когда Манкевич и я вошли в помѣщенія бюро иностранной информаціи, картина моим взорам предстала дѣйствительно оригинальная: точно женская студія с классами переводов и машинописи. Много дам, молодых и постарше, всѣ одѣты с претензіей на изящество, поскольку это было возможно в Омскѣ; на тѣх столах гдѣ нѣт машинок вороха англійских и французских газет. Что же дѣлали эти «милыя дамы» — как их назвал Сукин. Онѣ, оказывается, не спѣша переводили то, что им нравилось, составляли из газетных переводов сводки, эти сводки множили на ротаторѣ

и разсылали министрам и по штабам.

Самое оригинальное было в том, что той-же самой работой, используя тѣ же самыя газеты, был занят и информаціонный отдѣл министерства иностранных дѣл, возглавлявшійся С. А. Елачичем. Иногда, впрочем, бюро иностранной информаціи посылало отдѣльныя телеграммы информаціоннаго порядка в Лондон, Тырковой-Вильямс, Russian Liberation Committee, в Париж, Л. В. Бурцеву, который создал агенство «L'Union» и в Нью-Іорк, нѣкоему Заку.

Я сказал милым дамам коротенькую рѣчь, призвал их к дружной, совмѣстной работѣ и, послѣ ухода Манкевича, подробно ознакомился с тѣм, что каждая из дам в отдѣльности дѣлает, что считает для себя не нужным дѣлать и какія заданія ей, до моего появленія, давались свыше. Картина получалась едва ли не анекдотическая: было ясно, что всѣ эти дамы хороших фамилій, владѣвшія свободно тѣм или иным иностранным языком, собрались здѣсь чтобы не столько работать сколько, пользуясь своими связями и протекціей, получать жалованіе. Никакой настоящей работы освѣдомленія иностранцев к сожалѣнію налажено не было. Начинать приходилось сначала. Я вышел из бюро с рѣшеніем срочно переформировать наличный состав, удалить ненужный элемент, привлечь к дѣлу спеціалистов и, если удастся, для дѣйственной связи с заграницей, заручиться содѣйствіем корреспондентов — иностранцев.

Тут, кстати, вспомню о маленькой подробности моего перваго визита в Бюро. Когда я уходил, послѣ ознакомленія с личным составом, для докла-

да у Г. К. Гинса, меня остановила нѣкая дама, которая конспиративно стала мнѣ шептать на ухо:

— Будьте осторожны! Здѣсь есть Т., она близка к Адмиралу, и вы должны, кромѣ того, опасаться И., которая всегда интригует против всѣх. У нея связи. Она близка к минфину. Я вам все буду сообщать.

Я поблагодарил ретивую даму за напрасное безпокойство, но от ея «услуг» рѣшительно отказался, чѣм тут же нажил себѣ в Омскѣ еще одного врага.

Стоит ли разсказывать в подробностях, как впослѣдствіи наладилась работа по освѣдомленію за-границы? Это было бы не скромно. Отмѣчу только, что когда, в апрѣлѣ или в маѣ, всѣ органы информаціи, по желанію Верховнаго Правителя и совѣта министров, были слиты в одно, так сказать, министерство пропаганды, которому были приданы формы независимаго, даже акціонернаго, внѣшне частнаго предпріятія, и которое было названо «Русское Бюро Печати», во главѣ с А. К. Клафтоном, при многомилліонном бюджетѣ, мой отдѣл иностранной информаціи со всѣм внутренним аппаратом на мѣстѣ, с сѣтью корресподнентов в Америкѣ и Европѣ был включен полностью и сохранен без всяких измѣненій.

Из ближайших помощников отмѣчу месье Люсьена Комо, бывшаго прежде консулом в Самарѣ, который взял на себя завѣдываніе французским отдѣленіем, англійским отдѣленіем вѣдал англичанин, долго жившій в Россіи, мистер Мак-Ферсен, во главѣ канцеляріи я поставил В. А. Фетлера, владѣвшаго четырьмя иностранными

языками, много пользы принес Л. Л. Давыдов, котораго мы потом передвинули в Шанхай и затѣм отправили в Лондон. Когда 25 iюля 1919 г. я уѣхал из Омска обратно на Дальнiй Восток, во главѣ иностраннаго отдѣла был поставлен проф. Н. В. Устрялов.

***

На первом моем докладѣ, в срединѣ января, по смѣтѣ Бюро у Г. Г. Тельберга, которому, как управляющему дѣлами совѣта министров, я был подчинен в административном порядкѣ, он удивился цифрѣ в 10.000 сиб. рубл., которую я испрашивал на мѣсячные расходы, а через три, четыре мѣсяца мы переводили в Париж и по сто тысяч франков единовременно, на информацiонные расходы. Эти нѣсколько слов должны дать нѣкоторое представленiе о размѣрѣ и размахѣ, быстро разросшагося, дѣла широкаго освѣдомленiя за-границы о том, что дѣлало и за что боролось Россiйское правительство в Омскѣ.

Когда стали приходить из-заграницы газеты, гдѣ наши телеграммы и наша информацiя появлялись на первых страницах, когда радiо из Бордо и Лiона, в своих широковѣщанiях, цитировало из недѣли в недѣлю наши коммюникэ без сокращенiй, когда в моих руках оказался номер «Нью-Iоркскаго Таймаса» с заголовком нами составленным, через всю первую страницу: «National Assambly promised by Omsk Government», тогда только можно было сказать, что кое-что начало дѣлаться для того, чтобы диктатура адмирала Колчака получила, наконец, в мiрѣ «хорошую прессу», без чего нельзя

было расчитывать на матеріальную и моральную поддержку бывших союзников, расчитывать на признаніе правительства Всероссійским и на успѣх нашего представительства на Версальской Конференціи.

В концѣ апрѣля адмиралу Колчаку прислал привѣтствіе Жорж Клемансо, возглавлявшій конферанцію в Версали, которая перекраивала карту міра.

— «Я не сомнѣваюсь, — телеграфировал Клемансо, — что сибирская армія, под руководством своих выдающихся вождей, поддерживаемая качествами храбрости и выносливости, которыя она недавно доказала, осуществит ту цѣль освобожденія Россіи, которую Вы себѣ поставили».

Вслѣд за этим привѣтствіем получена была декларація французскаго правительства, переданная Пишоном:

«Считаю своим долгом от себя и от имени всего французскаго народа принести поздравленія Франціи и высказать Вам чувства ея восхищенія перед доблестью Ваших войск, которыя, в чрезвычайно тяжелых условіях нанесли пораженіе большевикам — врагам человѣчества. Глубоко вѣря в будущее Россіи, единой и свободной, мы будем продолжать оказывать Вам матеріальную и моральную поддержку, достойную того дѣла, на защиту котораго Вы встали. Франція, сохранившая полное довѣріе к русскому народу, и будучи убѣждена, что из Сибири придет возрожденіе, не сомнѣвается, что вся Россія в цѣлом вернется в ряды союзников, как только она сможет свободно выразить свою волю и окончательно изгнать за-

хватившіе власть элементы безпорядка и анархіи, враждебные всякому организованному обществу».

Юго-Славія, бывшая до конца вѣрной національной Россіи, положила начало оффиціальному признанію Омскаго правительства, увѣдомив, что она считает назначеннаго в Бѣлград посланника Штрандтмана полномочным представителем Россійскаго Правительства.

Говоря о работѣ по освѣдомленію нами заграницы проф. Г. К. Гинс, во II-м томѣ своего труда «Сибирь, союзники и Колчак», на стр. 181, отмѣчает: «Усилія эти не пропали даром. В началѣ мая получены были указанія из Америки, что общественное мнѣніе ея начинает явно склоняться в сторону Омскаго правительства. Многіе органы высказываются за признаніе адмирала Колчака. Бывшій президент Тафт напечатал статью, в которой предостерегает от каких бы то ни было сношеній с русскими большевиками «врагами всего человѣчества и міровой демократіи».

И, наконец, 3 іюня, — как сейчас помню этот день, — Верховному Правителю было вручено сообщеніе подписанное президентом Вильсоном, Клемансо, Ллойд-Джоржем, Орландо и японским делегатом маркизом Сайондзи.

Категорически удостовѣряя общее рѣшеніе о невозможности установленія каких либо отношеній с совѣтской властью, представители великих держав выразили желаніе получить освѣдомленіе по ряду вопросов.

Если «тѣ, с которыми они готовы вступить в общеніе, придерживаться одинаковых с ними взглядов», то они «готовы оказать поддержку прави-

тельству адмирала Колчака и объединившимся вокруг него, а также помогать ему снабженіем и продовольствіем, с тѣм, чтобы оно утвердилось в качествѣ Всероссійскаго».

Когда пришло это сообщеніе—Адмирал был на фронтѣ. Меня срочно утром вытребовали в министерство иностранных дѣл: управляющій министерством И. И. Сукин уѣзжал с экстренным поѣздом в Тюмень, чтобы там встрѣтить Адмирала. Сукин распорядился так согласовать опубликованіе деклараціи союзников, чтобы отклики в русской печати были переданы в Париж не раньше полученія там отвѣта правительства.

Было заранѣе извѣстно, что Адмирал повторит свои обѣщанія созыва національнаго собранія, вѣрности демократическим основам, но заявит твердо, что вопрос о судьбѣ государственных образованій возникших к жизни в результатѣ революціи в Россіи из ея окраин, он считает необходимым отложить впредь до созыва національнаго собранія. Из Парижа дано было понять, что желательно услышать подтвержденіе независимости не только Польши, но и Латвіи, Эстоніи, Литвы и, в особенности, Финляндіи. В самом Омскѣ намѣтилась политическая группировка, предлагавшая все обѣщать, что хотят г. г. союзники: «По приходѣ в Москву мы можем говорить с ними другим языком! Сейчас же, требуется демагогія.»

Но Адмирал думал иначе. Кривыми путями он ходить не умѣл и не хотѣл. Как впослѣдствіи Муссолини, Колчак всегда говорил то, что думал и говорил всегда правду.

Правительство, в цѣлом, раздѣляло политиче-

скія задачи Адмирала и Сукин, еще в вагонѣ, набросал французскій текст отвѣта на декларцію союзников, получившій одобреніе Адмирала.

Потом граф Мартель мнѣ говорил, что в этом отвѣтѣ Сукин обнаружил рѣдкія качества стилиста во французском языкѣ.

Словом, успѣхи арміи на фронтѣ, к 3-му іюня энергичным ударом на сѣверѣ был занят город Глазов, оживленіе центральной власти, приступившей к работѣ по возрожденію хозяйственной жизни, и наконец, правильно поставленная информація и агитація заграницей, сдѣлали то, что по словам исторіографа,—«адмирал Колчак поднялся на высоту, и перед его глазами уже бѣлѣли стѣны Кремля, и сіяли куполы московских церквей».

АДМИРАЛ НА ФРОНТѢ

По насыщенности содержаніем, разнообразію впечатлѣній и напряженности труда, мѣсяц работы в Омскѣ уподобляется году в обычных условіях, и семь мѣсяцев моего пребыванія там, по количеству воспринятаго, пережитаго, запомнившагося могут быть уподоблены семи годам. По себѣ нельзя судить о других, но не только я один, а многіе и многіе работали в Омскѣ с энтузіазмом, с самозабвеніем, с утра до вечера, и даже ночью, не покладая рук.

Мы знали, что не все удается, что многое дѣлается кругом нас из рук вон плохо, что на ряду с самоотверженіем и жертвенностью, расцвѣтает махровым цвѣтом карьеризм и предательство, но это не мѣшало нам трудиться, горѣть на работѣ и хотѣть, чтобы хватило сил на труд еще большій.

Тогда еще широким пламенем пылала вѣра в конечный успѣх бѣлаго дѣла. Мы знали, что мы работаем безкорыстно, не для отдѣльнаго класса, не для установленія того или иного режима, а только во имя Россіи, единой и недѣлимой, и потому неудачи только удваивали нашу энергію. Так что, при столкновеніи с фактами иного идеологическаго строя, иного нравственнаго порядка, нам, энтузіастам, казалось, что всѣ эти примѣры двурушничества, себялюбія, предательства и измѣны единичны, что несмотря на «все это», мы все-таки «выгребем», одолѣем врага, дождемся побѣды, попадем в Москву и спасем, вмѣстѣ с силами Деникина, Россію от разрушенія и гибели. Жертвенный образ адмирала Колчака, его горѣніе идеей борьбы до конца, непререкаемость его моральнаго авторитета, укрѣпляли нас в нашей вѣрѣ. В этой безоговорочной вѣрѣ нашей в правоту анти-большевисткаго дѣла, а, через то, и в побѣду над красными несмотря ни на что, как теперь очевидно, была и наша слабость, потому что по себѣ мы судили о других и слишком снисходительно относились к тѣм, кто нарушал сознательно общую гармонію жертвеннаго служенія Россіи из Омска.

Вот один из таких примѣров подсиживанія, интриги ради интриги, который к сожалѣнію не повлек за собой немедленной и суровой расправы с виновным лицом.

Едва оправившись послѣ жестокой и опасной простудной болѣзни, адмирал Колчак 8-го февраля отбыл на фронт. Он хотѣл не только увидѣть своими глазами, в каких условіях борется армія и согрѣть своим словом сердца солдат и офицеров,

которых любил горячей любовью, но хотѣл также своими устами изложить, в разговорах с представителями населенія прифронтовой полосы, за что и как борется им возглавляемая центральная власть. Ему внушили штатскіе политики, что надо изложить программу правительства по аграрному вопросу, по вопросу о мѣстных самоуправленіях, пообѣщать амнистію всѣм раскаивающимся в соціалистических заблужденіях и т. д.

Для того, чтобы соотвѣтствующе «подать» эту отвѣтственную первую поѣздку Адмирала на фронт перед иностранным общественным мнѣніем, мы добились включенія в свиту писателя Сергѣя Ауслендера, который не так давно пробрался в Омск через фронт красных, стал совсѣм иным, чѣм был в Петербургѣ, когда писал свои изящныя новеллы о манерных кавалерах XVIII вѣка и который быстро заразился нашей влюбленностью в Адмирала. Всѣ телеграммы Ауслендера из поѣзда Верховнаго, я, послѣ обработки и особо тщательнаго перевода на французскій и англійскій язык, отправлял по кабелю в Париж, Лондон и Нью-Іорк. В этой работѣ, за болѣзнью правителя дѣл Р. А. Фетлера, мнѣ старательно помогала А. В. Темирева, жена скончавшагося недавно в Шанхаѣ адмирала Темирева, дочь проф. Сафонова, талантливаго руководителя Московской консерваторіи. Она, как извѣстно из исторіи омскаго движенія, раздѣлила судьбу адмирала Колчака до конца, была с ним в поѣздѣ при трагическом отступленіи, была вмѣстѣ с ним арестована и долгое время содержалась в Иркутской тюрьмѣ послѣ разстрѣла Адмирала.

Эта февральская поѣздка адмирала Колчака

началась при благопріятных ауспиціях. Генерал Нокс направил вслѣд ему такую телеграмму: «Выражаю Вам, Адмирал, полную надежду в счастливой успѣшной поѣздкѣ на фронт. Глубоко увѣрен, что Ваше пребываніе там, ободрит и вольет новую энергію в сердца лучших людей Сибири, которые дерутся не только за Россію, но и за весь цивилизованный мір против ужаснаго большевисткаго кошмара. Желаю еще раз передать Вам и Вашему правительству все мое и каждаго знающаго Россію англичанина сочувствіе в славной борьбы спасенія горячо любимой родины и мою твердую вѣру, что Вашими усиліями в честном и прямолинейном управленіи, пренебрегая атаманством справа и большевизмом слѣва, Вы доведете эту трудную задачу до успѣшнаго конца и спасете Россію от анархіи». Г. К. Гинс так описывает эту поѣздку:

«Вот он в Троицкѣ, у оренбургских казаков. Четкими и твердыми словами он характеризует задачи борьбы и уѣзжает, бурно привѣтствуемый кругом, обѣщая удовлетворить всѣ справедливыя пожеланія войск. Через нѣсколько дней он, в бронированном поѣздѣ, отъѣзжает от Златоуста до самых передовых позицій. В одной верстѣ от сторожевых охраненій он обходит, по снѣжным тропинкам, боевыя части, заходит в перевязочную летучку, раздает в землянкѣ награды. Солдаты видят Верховнаго Правителя рядом с ними, на разстояніи выстрѣла, и они остаются очарованными, согрѣтыми. Воодушевленные пріѣздом своего вождя, они идут в атаку, берут нѣсколько деревень, отбивают орудія, пулеметы.

«Адмирал ѣдет дальше, на сѣверный фронт. В

Перми он идет на пушечный завод. Бесѣдует с рабочими, обнаруживает не поверхностное, а основательное знакомство с жизнью завода, с его техникою. Рабочіе видят в Верховном Правителѣ не барина, а человѣка труда, и они проникаются глубокою вѣрою, что Верховный Правитель желает им добра, ведет их к честной жизни. Пермскіе рабочіе не измѣнили правительству до конца. Опять Адмирал ѣдет на передовыя позиціи. Ѣдет так далеко, что о нем начинают безпокоиться, просят остановиться, наконец, говорят, что путь испорчен и поѣзд не может идти. Тогда он требует лошадей и проѣзжает все-таки дальше, осматривая позиціи. Нѣсколько раз деревня, гдѣ находился Верховный Правитель, обстрѣливалась красными. Мужество главнокомандующаго окрыляло солдат. Повсюду, гдѣ проѣзжал Верховный Правитель, ему подносили хлѣб-соль и адреса, засыпанные подписями. Подносили рабочіе, крестьяне, купцы, духовенство. Всѣ выражали восторг по поводу избавленія от страшнаго ига и в самых искренних выраженіях благодарили за спасеніе. Произносил большія рѣчи и сам Правитель. Встрѣчаясь лицом к лицу с дѣятелями общественности, с земскими и городскими представителями, он разъяснял им программу и цѣли правительства. Три мысли были ярко выражены в этих рѣчах: непримиримая борьба с большевиками, единеніе с обществом, земля — крестьянам».

Вскорѣ послѣ возвращенія Адмирала в Омск, по всему фронту началось рѣшительное наступленіе. 8 марта военная сводка сообщает о взятіи Оханска и глубоком обходѣ Осы. Через нѣсколько

дней на голову разбитые красные в паникѣ оставляют почти всю Каму и бѣгут к Вяткѣ. Проходит нѣсколько дней и получается новая телеграмма 14 марта: «послѣ стремительнаго удара наших войск, красные в паникѣ оставили Уфу. Успѣхи развивались дальше. На сѣверѣ лыжники сибирской арміи вошли в соприкосновеніе с войсками Архангельскаго правительства.

И вот в эти самые отвѣтственные дни, я получаю большой пакет за пятью красными сургучными печатями, с печатной надписью внизу: «Главноуправляющій дѣлами Верховнаго Правителя и Совѣта Министров».

В конвертѣ ряд бумаг, скрѣпленных зажимом, нѣкій французскій текст, и , через всю первую страницу, написано синим карандашем крупным почерком три слова: «Что за вздор!» А, сбоку, я разсмотрѣл карандашную приписку, знакомым мнѣ почерком проф. Тельберга: «Затребовать от Л. В. Арнольдова срочных разъясненій».

Мнѣ не стоило большого труда угадать сразу, по первым строкам текста, что в бумагѣ содержался перевод той самой телеграммы Сергѣя Ауслендера, гдѣ он излагал рѣчь адмирала Колчака в Челябинскѣ, по земельному вопросу. Адмирал говорил об укрѣпленіи и развитіи мелкой земельной собственности за счет крупнаго землевладѣнія. В бумагѣ же всѣ эти мысли, яко бы, посланной мною в Париж телеграммы, были тонко и подло искажены.

Я тотчас вызвал к себѣ в кабинет А. В. Тимиреву, которая как раз в дни февральской поѣздки Адмирала на фронт вѣдала нашей канцеляріей и

когда она вошла, протянул ей бумагу. Она взглянула на надпись синим карандашем через всю страницу и, внезапно пошатнувшись, схватилась свободной рукою за край стола.

— Что с вами, вам нехорошо? — спросил я, удивленный. Она отвѣтила, измѣнившимся голосом:

— Его рука!...

Тогда только я понял, что слова синим карандашем написаны Адмиралом и тут же осознал всю глубину преданности этой женщины. Глазами, сердцем она мгновенно угадала, что дѣлая эту надпись, Адмирал был взволнован, взбѣшен и сама разволновалась его волненіем. Конечно, тут не было никакого страха перед ним или, тѣм болѣе, опасеній за свою судьбу. У нас А. В. Темирева работала во всяком случаѣ не из за денег. Тѣ же чувства испытал бы, по моему, молодой фашист, если бы сейчас в Италіи, гдѣ всѣ влюблены в Муссолини, узнал бы, что своим поступком мог разсердить, раздосадовать, взволновать Дуче.

Дѣло становилось серьезнѣе. Мы тотчас же с нею нашли в дѣлах оригинал телеграммы, полученной из Челябинска от Ауслендера, на русском языкѣ, нашли копію утвержденнаго мною перевода и копію официальнаго телеграфнаго бланка с текстом этой телеграммы в готовом для передачи в Париж видѣ. Далѣе, я вызвал автомобиль и помчался на телеграф, получить там подлинник той телеграммы, которую мы отправили, касательно этой рѣчи. А, по дорогѣ на телеграф, вспомнил, что как раз послѣ возвращенія Адмирала из поѣздки на фронт, один крупный чиновник министерства иностранных дѣл, который мѣтил на мое

мѣсто, упросил меня дать ему «для справки» папку, в которой были собраны всѣ информаціонные документы, связанные с поѣздкой Адмирала на фронт — все, что мы получали из поѣзда Верховнаго и все, что, потом, отправляли за границу, в в телеграфныя агентства и отдѣльныя газеты. Дал я эти документы без всякой охоты, и, потом, словно предчувствуя возможность провокаціи, дважны освѣдомлялся у правителя канцеляріи, возвратило ли министерство иностранных дѣл эту папку. Двѣ недѣли оно ее не возвращало.

Мнѣ не стоило теперь большого труда, с документами в руках, убѣдить Г. Г. Тельберга, что телеграмма грубо поддѣлана и в таком поддѣланом видѣ нарочно была подсунута Адмиралу, чтобы вызвать его гнѣв и, тѣм самым, предрѣшить мою отставку, чего, видимо, и добивался интриган. Все обошлось благополучно. Послѣ моего очередного доклада у министра иностранных дѣл, тот не скрыл от меня, что Адмирал был взбѣшен.

— Над вашей головой собралась было грозная туча, — сказал он. Но теперь, за то, вы можете требовать головы этого человѣка! Если вы хотите, я даже не предложу ему подать в отставку, а просто уволю его в административном порядкѣ.

Я подумал и отказался от мести.

В тѣ же дни состоялся в Омскѣ парадный спектакль в городском театрѣ, единственный спектакль, на котором я присутствовал за всѣ семь мѣсяцев. Британское войско рѣшило привѣтствовать со сцены, очень среди них популярнаго, адмирала Колчака и, за одно, показать Омску свои сценическія способности.

На спектакль батальона канадцев собрался весь правящій и дипломатическій Омск. Толпа была, впрочем, сѣрая, потому что в смокингах могли притти только единицы — большинство вообще располагало тогда одним единственным штатским костюмом «получше», для особо торжественных случаев, предпочитая днем, на работѣ, носить защитные френчи.

Всѣ с напряженным интересом ждали появленія в литерной ложѣ Верховнаго Правителя. Мнѣ, из партера, хорошо были видны всѣ, кто сидѣли и в ложах и в первых рядах: министры, высокіе комиссары, омскіе сенаторы, генералитет, союзное командованіе; как сейчас помню премьер министр П. В. Вологодскій и семья Г. К. Гинса находились в общей ложѣ. Дамы были в песцах.

Когда Адмирал появился, точно в назначенный час, весь зал поднялся сразу, общим порывом, и дирижер взмахнул палочкой. Полились величавые звуки «Коль Славен», а, потом, был исполнен британскій гимн. Позади Адмирала сидѣл ген. Альфред Нокс и полк. Уорд.

Отдѣльныя сценки — скетчи смѣнялись сольными номерами, много было балагурства, и всѣх особенно воодушевило исполненіе хоровой вещи, в припѣвѣ которой были слова:

— «Jolly good luck to Russia and to Koltchak». — быстро подхваченныя всѣм залом.

Адмирал был худ и блѣден, он казался утомленным, было что-то обреченное в четких линіях его лица, в его выразительном профилѣ. Он явно дѣлал над собою усиліе, когда надо было вставать, кланяться, отвѣчать на привѣтствія.

И я почему-то думал о другом таком-же парадном спектаклѣ, 1 сентября 1911 года въ Кіевѣ, когда, выстрѣлом Богрова, у Россіи был отнят П. А. Столыпин.

ПИСАТЕЛЬ ОБ АДМИРАЛѢ

Вскорѣ послѣ поѣздки Адмирала на фронт, Русское Бюро Печати опубликовало брошюру писателя Сергѣя Ауслендера о Верховном Правителѣ. Она была распространена в десятках тысяч экземпляров на фронтѣ и в тылу и свое дѣло сдѣлала в запечатлѣніи для потомства образа адмирала Колчака.

На титульной страницѣ портрет Адмирала, с клишэ, рѣзаннаго по дереву. Кромѣ того, С. Ауслендер впослѣдствіи опубликовал еще одну брошюру: «Верховный Правитель на фронтѣ». Эти и другія изданія Бюро Печати: В. Владимирцев «Как рабочіе и крестьяне возстали против большевиков», Бонч-Осмоловскій «Кому земля достанется» и т. д. находились на складах Бюро Печати в Омскѣ (знакомый адрес) 2-ой взвоз, д. Липатникова.

Экземпляр этой брошюры, — нынѣ музейная рѣдкость,—лежит сейчас перед моими глазами. Сергѣй Ауслендер писал:

«Очерк о Верховном Правителѣ я хочу начать тѣми строками, которыя я записал в нобярѣ 1918 года, впервые увидав Верховнаго Правителя нѣсколько дней спустя послѣ того, как Совѣт Министров постановил передать всю полноту верховной власти ему.

Это были дни тревоги, когда все еще было смутно и неопредѣленно, когда дѣло спасенія

Россіи висѣло на волоскѣ, когда многіе малодушные и смятенные еще боялись сказать свое мнѣніе о совершающихся событіях.

И вот, когда я увидѣл его, вдруг ощущеніе какой-то спокойной рѣшимости охватило меня. Я понял, что все спасеніе Россіи и каждаго из нас связано с этим человѣком. В тот же день я записал слѣдующее:

«Когда легкой, но какой-то особой точной походкой он прошел по унылому корридору Ставки Верховнаго Главнокомандующаго, слегка наклонившись к листку телеграммы, которую он читал, кто-то сказал: «Вот адмирал».

И в ту же секунду, когда я увидѣл этот острый, четкій, тонко вырѣзанный профиль, у меня явилась мысль: почему так знакомо это лицо, гдѣ я уже видѣл этот гордый с горбинкой нос, этот твердый овал бритаго подбородка, эти тонкія губы, эти глаза, то вспыхивающіе, то потухающіе под тяжелыми вѣками?

Да, на римских камеях искусный художник запечатлѣвал образ воина и героя, черты человѣка, видавшаго смерть совсѣм близко, познавшаго радость побѣды и горечь пораженій, видавшаго и далекія страны, и пышные тріумфы и ужасныя картины безпощадной битвы, умудреннаго суровой мудростью, неустаннаго мечтателя и закаленнаго бойца. Художник умѣл передать своим рѣзцом и суровую твердость и скорбную нѣжность в таком тонком, четком профилѣ.

Вот он какой, Адмирал, — небольшого роста, худощавый, стройный, с движеніями гибкими и точными, с лицом навсегда сохранившим загар да-

леких морей, то почти юноша, когда вспыхнет что-то там, внутри, то вдруг усталый смертельно, измученный всѣм, что было, и что предстоит еще, голос негромкій, глуховатый, но такой, что услышишь среди самаго яростнаго гула орудій, и такая сила чувствуется в этих маленьких загорѣлых пальцах.

Адмирал! О нем ходят уже легенды. Его имя уже давно повторяют, кто с пламенной надеждой, кто со смертельным страхом.

Жизнь его, наполненная сраженіями и упорными трудами, жизнь моряка и реформатора русскаго флота, становится достояніем исторіи.

Власть, это всегда не только радость, не только удовлетвореніе честолюбія, это тяжелое бремя, которое необходимо умѣть нести твердо, свято и торжественно. Немногіе умѣют чисто внѣшне, не принимая фальшивых, напыщенных поз, сохранить свое человѣческое лицо и придать ему выраженіе подлинной величественности, значительности и огромной отвѣтственности, которыя налагаются властью. Потому так часто получившіе власть опьяняются, теряют чувство мѣры как в мыслях, поступках, так и во внѣшних движеніях, жестах.

Что прежде всего поражает в Верховном Правителѣ, чего не могут не чувствовать всѣ, кому приходилось непосредственно видѣть и слышать его—это какая-то необычайная подлинная человѣчность каждаго движенія, слова, взгляда.

Ничего ненастоящаго, придуманнаго, неискренняго, эта естественная простота каждаго жеста, этот напряженно — внимательный взор, эти рѣчи, произносимыя без всяких ухищреній ораторскаго

искусства, спокойныя, нѣсколько сухія, дѣловыя, твердыя, ясныя слова, в которых чувствуется все біеніе живого, большого чувства и глубокой пристальной вдумчивости ко всему, с чѣм приходится соприкасаться — все это дѣлает внѣшній и внутренній облик совсѣм не похожим на обычнаго офиціальнаго представителя власти, овѣяннаго холодом предвзятых теоретических выкладок, холодом, котораго не может одолѣть даже пафос звонко — пустого краснорѣчія иных недавних властителей.

О чем бы не говорили ему: о сложных дѣлах внѣшней политики, о тяжелых финансовых и продовольственных нуждах освобожденных от злого плѣна городов и земств или делегація рабочих разсказывает о своих дѣлах, о потерявшемся вагонѣ хлѣба и о невыдачѣ керосина, обо всем большом и малом, общем и частном—всегда у него такое напряженное желаніе все узнать, сейчас же найти возможность так или иначе помочь.

Эта серьезность постоянной заботы, постояннаго вниманія дѣлает его лицо сосредоточенным, нѣсколько печальным, но эта внимательность, это напряженіе дѣлают лицо таким живым, человѣческим, совсѣм близким каждому, кто видит и слышит его.

Но, рядом с этой человѣческой простотой, простотой без всякой фальшивой слащавости, простотой, нѣсколько суровой, Верховный Правитель умѣет достойно, торжественно нести величіе власти.

Когда в своей совершенно простой солдатской шинели с защитными погонами, он проходит медленно вдоль рядов войск, своим пристальным, на-

пряженно-печальным взглядом как будто замѣчая каждое лицо,—есть подлинное волненіе величественности, котораго не достигнуть никаким внѣшним блеском одѣянія и поз.

Это достигается опять-таки каким то внутренним напряженіем, глубочайшим сознаніем той отвѣтственности, которая принята им за Россію, за каждаго, за каждаго без исключенія в эти страшные дни послѣдней борьбы.

В нем есть что-то, что приковывает взоры и сердца помимо воли, что-то магнетизирующее. Вся жизнь, наполненная упорными трудами, частыми опасностями, там, в Ледовитом Океанѣ, там, у Порт-Артура, в Балтійском и Черном морях — эта жизнь, требовавшая столько душевной крѣпости и твердости, положила отпечаток на весь облик.

Человѣк, видавшій столько раз смерть совсѣм близко, человѣк несломившійся, всегда вызывает невольное уваженіе к себѣ.

Несомнѣнно, эти черты искренности, твердости, непреклонности, суровой простоты привлекали, приковывали к нему сердца многих.

Недаром даже в дни темнаго опьяненія в Севастополѣ он один из немногих (если не единственный) военачальников умѣл владѣть толпой, уже отравленной черным ядом, умѣл, не унижаясь до раболѣпства перед ними, сохранить свой авторитет среди матросов и рабочих, вызсказывая им спокойно и твердо свои мысли, безнадежныя в самом разгарѣ революціоннаго безумія.

Это умѣніе вліять на людей самых разнообразных положеній и устремленій, это умѣніе заставить вѣрить себѣ помимо чисто-внѣшняго обаянія

искренности, твердости и благородства, которое передается безсознательно, помимо этого имѣет глубокія внутреннія основанія.

Какія идеи одухотворяют Верховнаго Правителя, каковы его мысли, надежды и планы?

В своих рѣчах, которыя совсѣм не похожи на обычныя рѣчи ораторов, говорящих так часто то, чего они совсѣм не чувствуют, не переживают, в своих рѣчах на земских собраніях перед мѣстными общественными дѣятелями и крестьянами он в словах ясных, четких и твердых не раз вызсказывал свои мысли, взгляды и идеи.

Когда слушаешь его, все время чувствуешь, что каждое слово, каждая мысль продиктованы только горячей любовью и неутомимым умом, ищущим выхода из всѣх невыносимых бѣдствій, постигших Россію.

Мы знали многих храбрых и безупречных воинов, которые хорошо умѣли сражаться и умирать, но которым были многіе государственные вопросы чужды, которые многаго при всей доброй волѣ не могли понять и почувствовать.

Верховный Правитель совмѣстил в себѣ многое: он не только твердый воин, так хорошо понимающій, что нужно в эти часы рѣшительной борьбы, он также ученый, привыкшій свой ум направлять на области разностороннія, ему не впервые пришлось вплотную подходить к вопросам общегосударственной и политической жизни; как моряк он многое видѣл и познал не только из книг, а в жизни различных стран.

Все это дало ему широту мысли, не затемненной предвзятыми партійными и теоретическими

программами, мысли, согрѣтой пламенной любовью к Россіи, за которую столько раз он готов был умереть, принимая участіе в боях.

Вот прошло шестнадцать лѣт с тѣх пор, что была набросана эта характеристика скромным русским писателем и что мы можем в ней опровергнуть?

Безрадостны и трагичны были послѣдніе мѣсяцы жизни адмирала Колчака, но они привели его в пантеон героев русской исторіи. Это безспорно. Только его имя, вѣроятно, и перейдет в вѣка, как олицетвореніе несчастной русской Вандеи.

Но исторія власти адмирала Колчака в Омскѣ имѣет и еще одну историческую значимость, до сих пор не отмѣченную никѣм из историков эпохи.

В плеядѣ таких всѣм извѣстных фигур, как Муссолини, предотвратившій захват Италіи коммунистами, Пилсудскій, возродитель Польши, Гитлер, Кемаль-паша, ученый водитель Чехо-Словакіи Массарик, вровень с ними, должно быть поставлено имя русскаго правителя, перваго диктатора на путях борьбы за спасеніе вѣковой цивилизаціи, адмирала Колчака.

Его личность, его подвиг, его мысли и дѣянія во многом, как прообраз, напоминают то, что дѣлали эти столь прославляемые, каждый у себя на родинѣ, герои современности.

Но если им судьба сулила познать и радость побѣды, видѣть свои идеалы осуществленными, адмирал Колчак, первый диктатор в Европѣ и предтеча диктатур, погиб жертвой искупленія за чужіе грѣхи, еще раз подчеркнув изначальную трагичность судьбы героев русской исторіи.

Кромѣ Ставки, с ея холодными корридорами, й дома Верховнаго Правителя, довольно мрачнаго и снаружи и изнутри, кромѣ Вѣтки, выше мною описанной, пульс политической жизни в колчаковском Омскѣ бился в зданіи «Совмина», бывшем дворцѣ степного генерал-губернатора и в министерствѣ иностранных дѣл.

В совѣтѣ министров принимали—премьер Вологодскій, к которому попасть было не так трудно, особенно при содѣйствіи его адъютанта, моего товарища по университету, пор. Бенедиктова, красиваго и ласкового молодого человѣка, по профессіи поэта, и управляющій дѣлами проф. Тельберг, впослѣдствіи сенатор, министр юстиціи, генерал-прокурор и чуть ли не канцлер капитула россійских орденов.

Г. Г. Тельберга, нынѣ, всѣ эти шестнадцать лѣт, благополучно здравствующаго в Циндао, я знал еще по Томскому университету, гдѣ он занимал кафедру исторіи русскаго права и я сохранил о нем острое воспоминаніе еще с той поры, когда он «срѣзал» меня на первом-же коллоквіумѣ. Теперь я был удивлен, застав проф. Тельберга в том его, болѣе чѣм скромном, почти крохотном кабинетѣ, который был отведен в Совминѣ для человѣка, в руках котораго фактически централизовалась вся работа правящаго аппарата. Тельберг быстро надорвал свои силы на этой воистину нечеловѣческой работѣ и, лѣтом 1919 года, с его сердцем произошли такія осложненія, так что Владыкин, один из близких к нему чиновников, ходил

на цыпочках и говорил мнѣ с сокрушенным лицом, что Георгію Густавовичу «опять плохо». Слава Богу, море, солнце и воздух Циндао быстро возстановили силы этого одареннаго человѣка—большого русскаго патріота, виднаго ученаго, принципіальнаго политика и блестящаго стилиста.

В «Совминѣ» кромѣ чиновников— (вспоминаю Т. В. Бутова, Богданова, Прорвича)—было не мало барышень, которых, за их принадлежность к Совмину, на манер парижских мидинеток, звали столь нескромно, что огласить это наименованіе в печати не представляется никакой возможности. Одна из этих барышень, слетав, в поѣздѣ министра путей сообщенія Л. А. Устругова в Харбин и обратно, за покупками для себя и подруг, разсказывала мнѣ потом, что она получила отпуск потому, что, при выходѣ предсѣдателя совѣта министров из кабинета, словчилась упасть на его глазах в обморок от «переутомленія».

В отношеніи форм и стиля власти молодой, совсѣм в державном отношеніи зеленый Омск, который, из эмигрантскаго Парижа, снисходительно называли «правительством политических гимназистов», любил подражать испытанным классическим образцам: и подобно тому, например, как на башнѣ Вестмистерскаго Аббатства горят часы « Big Ben », когда засѣдает парламент, Совмин, в дни ночных засѣданій совѣта министров, неизмѣнно привлекал взоры прохожих своим ярко освѣщенным фронтоном.

Впрочем, Совмин больше законодательствовал, чѣм управлял. Фактически, политика творилась в том почти тайном совѣтѣ Верховнаго Правителя, в

котором учавствовали, собираясь три раза в недѣлю: премьер Вологодскій, «минфин» Михайлов, «мининдѣл» Сукин, «управдѣл» Тельберг и «минвнудѣл»: сначала Гаттенбергер, а потом, В. Н. Пепеляев. Присутствовал на этих совѣщаніях и военный министр Степанов; начальник штаба Д. А. Лебедев, свалив Степанова, также включился в число тѣх, кто тѣсно замкнули в своем кольцѣ адмирала Колчака. О покойном ген. Лебедевѣ в Омскѣ ходило много слухов. Общественность возмущалась рѣзкостью и прямолинейностью его сужденій. Его называли «злым геніем» Адмирала. Разсказывали о том, как при обсужденіи в Совминѣ отвѣтственнаго земельнаго закона он, будто бы, ударил кулаком по столу и сказал, что этому закону не бывать. Он его не допустит!

Стоустая молва плела, ловко пущенный провокаторами слух, что Лебедев находится под вліяніем близких к нему офицеров-помѣщиков, которые никакой реформы, ущемляющей интересы аграріев, не допустят. И хотя земельный закон был утвержден Верховным Правителем на слѣдующій же день послѣ разсмотрѣнія его в совѣтѣ министров, и Лебедев ограничился подачей особаго мнѣнія, которое, однако, не было принято во вниманіе Адмиралом, молва упорно сводила роль Лебедева к роли Протопопова.

Сам Адмирал, когда ему начинали нашептывать про Лебедева, говорил своим характерным голосом: — «Я ему вѣрю, он мнѣ предан с кишками»...

Мои встрѣчи с Д. А. Лебедевым уже в эмиграціи и разговоры в 1926 году, в Шанхаѣ, и

особенно, лѣтом 1928 года в Дайренѣ, в Шизуура, гдѣ мы оба стояли в одном и том же отелѣ, отнюдь не подтверждали мрачных слухов, ходивших по всему простору территоріи Омскаго Правительства от Урала и Камы до Приморской области: молодой генерал оказался не только джентльменски выдержанным человѣком и обаятельным собесѣдником, но поражал своей простотой, способностью воспріятія контр-мнѣній и углубленной сосредоточенностью. Среди близких к нему людей, среди подчиненных и соратников, он пользовался большим авторитетом. Многіе буквально его обожали а преждевременная, какая то трагическая, смерть его в Шанхаѣ была для всѣх, близко его знавших людей, страшным ударом. В общем, мы удивительно поверхностно судим о других. Часто мы подходим к людям с навязаным нам, предвзятым мнѣніем и эта предубѣжденность мѣшает видѣть человѣка, при жизни его, в его истинном свѣтѣ. Только смерть открывает нам всего человѣка, каким он был, каким он должен сохраниться для исторіи.

В задачу моих очерков, повторяю, не входит писать исторію державнаго Омска — отчасти она уже написана. Отчасти это было бы мнѣ и не под силу, при отсутствіи в Шанхаѣ документов эпохи. Свой собственный цѣнный архив, тщательно собиравшійся в Омскѣ и довезенный до Хабаровска, я был вынужден уничтожить, когда 16 февраля 1920 года, в Хабаровск вошли части Булгакова-Бѣльскаго и красные партизаны. Я поэтому набрасываю здѣсь всего лишь панораму живых воспоминаній о людях, выдѣлявшихся в Омскѣ, и о

событіях, в которых сам был скромным соучастником.

Итак, кромѣ «Совмина», совѣта Верховнаго, Ставки, Государственнаго Экономическаго Совѣщанія, о котором надо бы поговорить отдѣльно, в Омскѣ, как извѣстно, были вліятельныя политическія группы, Группа Михайлова, группа сибириков-областников не эс-эров, во главѣ с проф. Н. Я. Новомбергским и М. П. Головачевым, группа торговопромышленников во главѣ с кн. Крапоткиным, среброволосым златоустом, и А. А. Гавриловым, хорошо извѣстным, потом, по своей дѣятельности в Харбинѣ при управляющем Китайской Восточной желѣзной дорогой инж, Б. В. Остроумовѣ; имѣлись в Омскѣ послѣдователи неистоваго адвоката Жардецкаго пламеннаго, даже нѣсколько изступленнаго трибуна, и, в придачу ко всѣм этим группам, существовало нѣсколько, наспѣх с импровизированных, дамских политических салонов.

Это и не удивительно: колчаковскій Омск был переполнен людьми до отказа. Населеніе доходило в 1918-19 г. г. до полумилліона. Сюда сбѣжалась интеллигенція, дворяне, служилый и торговопромышленный класс из Казани, Самары, потом из Перми, со многих мѣст Урала, сюда съѣхались всѣ, искавшіе счастья в политических авантюрах, безпокойные элементы со всѣх концов Сибири, из Харбина, который с конца 1917 года сам стал конденсатором политических «перекати-поле», и даже с Дальняго Востока.

В огромном, грязноватом, заставленном неопрятными столами, ресторанѣ при гостинницѣ «Россія», в столовой Коммерческаго собранія на

набережной Оми, в популярном кафэ «Люкс» и в других мѣстах в час обѣда можно было встрѣтить кого угодно — бывших московских и волжских милліонеров, сановников из стараго Петербурга вродѣ царскаго государственнаго контролера С. Г. Феодосьева, адмиралов и генералов, профессоров из Перми и Томска, людей со всероссійскими именами и людей, которых занесла на страницы исторіи капризная прихоть междоусобія.

Кто только не перебывал в Омскѣ за этот період: Б. В. Савинков, котораго Роман Гуль назвал «Генералом Бо», ген. проф. Н. Головин, С. Н. Третьяков, премьер на час, Е. К. Брешко-Брешковская, бабушка русской революціи, атаман Дутов, проф. В. В. Сапожников, изслѣдователь Алтая, кн. Анатолій Куракин, Лопухины, кн. Г. Е. Львов, потом В. Н. Львов бывшій безславный обер-прокурор Святѣйшаго Синода при Временном Правительствѣ, спутавшій, в качествѣ парламентера к Керенскому, всѣ карты ген. Корнилову, М. Л. Киндяков, котораго назначили из уваженія к его званію члена Государственной Думы чуть не трех созывов, управляющим государственным коннозаводством, Н. Д. Авксентьев, элегантный мужчина, в котором едва угадывался, в его опарижаненой внѣшности, предсѣдатель эс-эровскаго Учредительнаго Собранія, Г. Б. Патушинскій, в прошлом сибирскій Плевако и иркутскій Бо-Брюммель в цилиндрѣ, потом министр юстиціи, областник, и революціонер, человѣк, который имѣя в своем распоряженіи всѣ блага и дары для безпечальной жизни, в день объявленія войны с Германіей вызвавшійся итти на фронт добровольцем:—«чтобы вырвать свободу еврейско-

му народу»; проф. Н. В. Устрялов, котораго впослѣдствіи будут цитировать и Ленин, и Троцкій, и Зиновьев, и Бухарин, вплоть до Сталина, генерал Гайда с двумя офицерскими Георгіями, на груди и на шеѣ, проф. Д. В. Болдырев, подниматель движенія Креста и Полумѣсяца, пѣвица М. А. Каринская, поэт Георгій Маслов, А. А. Нелидов, молодой дипломат, сын нашего посла в Константинополѣ и Парижѣ, хирург кн. А. В. Голицын, дочь котораго уже в Америкѣ вышла замуж за англійскаго магната Виккерса, проф. П. П. Гудков, быв. посланник наш в Сіамѣ Лорис Меликов, дѣдушка сибирской кооперацiи А. В. Сазонов, в бѣдности погребенный в илистой шанхайской землѣ, кооператов А. А. Балакшин, нѣкогда ворочавшій милліонами, и такіе богачи, как С. Ф. Злоказов, К. Н. Неклютин, С. П. Абрамов, А. К. Клафтон, разстрѣлянный послѣ суда над омскими министрами, как «министр пропоганды», І. К. Окулич, графиня А. Н. Ланская, повѣсившаяся потом в Шанхаѣ, ген. С. Н. Розанов, двуличный атаман и генерал Иванов-Ринов и, весь точно созданный для успѣхов в гражданской войнѣ, молодой генерал А. Н. Гришин-Алмазов, ген. М. К. Дитерихс, у котораго из всѣх наших генералов едва ли не самая содержательная біографія, ген. Н. Н. Сахаров, всегда напыщенный и штатскими остро нелюбимый, очаровательный Г. І. Клерже, тогда всего лишь «ген. штаба полковник», умный, хитрый, дальновидный ген. А. И. Андогскій, адмирал М. И. Смирнов, атаман Анненков, знаменитый военный корреспондент «Русскаго Слова» М. С. Лембич, нѣт никакой возможности сколько нибудь полно перечислить круп-

ных и интересных, каждый по своему, людей, которых приходилось встрѣчать и видѣть то в одном, то в другом мѣстѣ правящаго Омска, за період бурно-пламенных 1918-1919 годов.

Как не краток был этот період — им, и в нем, творилась подлинная исторія и создавались отношенія, разыгрывались драмы, плелись интриги, которым могла бы позавидовать любая заправская столица.

На ряду с трагическим, в омском этапѣ борьбы за Россію, было не мало мелкаго, забавнаго, и дешево тщеславнаго. Умалчивать об этом, значит сознательно стирать с картины краски.

Осмотрѣвшись послѣ пріѣзда в Омскѣ, я рѣшил навѣстить своего знакомаго еще по Томску, проф. М. П. Головачева, который быстро отгорѣл, как распорядитель судеб внѣшней политики Сибирскаго правительства, но в Томск, в университет, читать лекціи, почему то не возвращался и жил в Омскѣ, «на покоѣ».

М. П. Головачев, как я узнал, обосновался в барском особнякѣ у моего родственника К. А. Гриневицкаго, директора банка. Я пріѣхал к нему с визитом, часов около одиннадцати. Узнал от горничной, что «г. профессор встали». Но, несмотря на поздній час, молодой ученый и дипломат заставил меня основательно его подождать: не то он прихорашивался, не то с кѣм-то секретно совѣщался, не то просто хотѣл показать, что у него принимают не сразу.

Потом он вышел ко мнѣ. Он был все тот же, как и в Томскѣ, в университетских корридорах или на кафедрѣ, за чтеніем лекціи по международному

праву, послѣ вынужденнаго отъѣзда, занимавшаго ряд лѣт эту кафедру, проф. Н. Ив. Кравченко.

Он, по прежнему, несмотря на утренній час, носил визитку и какой-то особо шикарный галстух, черно бѣлых, торжественных тонов. Волосы у него были, как всегда, нѣсколько небрежно откинуты назад. И было во всей его наружности и даже профилѣ, в тѣ времена, что-то до странности схожее с поэтом Александром Блоком.

Мы говорили—Мстислав Петрович слегка фрондировал и, видимо, был отмѣнно недоволен тѣм, что я не только остался служить омскому правительству, да еще у его соперника под начáлом, но как будто бы даже начал дѣлать карьеру. Он же все явственнѣе проявлял свою оппозиціонность.

Если, теперь, в зрѣлые годы, через шестнадцать лѣт, нам обоим вспомнить этот разговор бывшаго товарища министра, которому было лѣт 26 и директора департамента, едва насчитывавшаго 24 года от роду, то нельзя не улыбнуться и нашей тогдашней самоувѣренности и той безпечной, я не скажу бездумной, храбрости, с какой мы творили, как могли и умѣли, государственное дѣло. Впрочем, с той стороны, под началом Ленина и Троцкаго, с нами сражались тоже мальчишки.

Всѣ вокруг нас были молоды: всесильному министру финансов было 29 лѣт, министру иностранных дѣл лѣт 27, генералам Пепеляеву, Гайда, Гришину-Алмазову никому из них не было тогда и тридцати лѣт.

Оппозиціонность Головачева была впрочем довольно невиннаго свойства; сказывалась она главным образом в том, что, при содѣйствіи гостепрі-

имнаго дома Гриневицких, он устраивал политическіе банкеты, на которые приглашались иностранные дипломаты и тѣ омскіе сановники, которые могли считать себя обиженными или неоцѣненными. Раза два на таких банкетах присутствовал и я: помню, был среди званых чешскій майор Кошек; не получившій назначенія от Омскаго правительства дипломат Лорис-Меликов и другіе фрондеры.

Имя Адмирала в разговорах не упоминалось — его престиж был высок даже в кругах оппозиціи, за то ближайшим «клевретам»: Михайлову, Сукину, Гинсу на этих обѣдах здорово доставалось. И так как в Омскѣ все быстро становилось извѣстным, то и слава о каких-то мистических собраніях у Головачева за «круглым столом» быстро прошла по всему Омску — Мстислав Петровичу этого видимо и надо было.

В самом дѣлѣ, с ним поступили несправедливо: в просвѣщенной Европѣ, если товарищ министра не подошел, ему дают пост посланника или, как Ключникова, посылают с отвѣтственным дипломатическим порученіем в Париж. А тут, хоть бы что: в чистую отставку.

ВИЗИТ К МИНФИНУ

Доброжелательства, взаимной терпимости хотя бы со стороны своих к своим, вот чего не хватало в Омскѣ. Трудно культивировать эту основную гражданскую добродѣтель в разгар междоусобной войны. Тут как никогда: homo homini lupus.

Первой серьезной задачей, которую мнѣ пришлось разрѣшить в Омскѣ, было принятіе контр мѣр против той агитаціи, которую повели за

границей высланные члены Директоріи. Нѣт смысла опять разсказывать подробности ея низложенія и причины, приведшія к этому. Лишній раз хочу подчеркнуть, что адмирал Колчак в гибели власти, созданной при помощи непрочнаго сговора на Уфимском государственном совѣщаніи, не участвовал. На засѣданіи правительства 18 ноября 1918 года, послѣ ареста Авксентьева и др., кромѣ Колчака, выдвигались кандидатуры Хорвата и Дутова. Авксентьев, Зензинов, Аргунов, Роговскій и теперь не могли бы опровергнуть свою тогдашнюю близость к В. М. Чернову, а Чернов опубликовал грамату, которая давала всѣ основанія привлечь не только его, но и бывших членов Директоріи, к уголовной отвѣтственности.

Не надо забывать какое было тогда время, сколько накопилось у всѣх и каждаго злобы, как пылала в сердцах жажда мести за все, что гибло, за всѣ униженія, испытанія и муки. Сторонников террора ради террора ко всѣм инако мыслящим, в средѣ омских военных было достаточно. Наконец, исторія нас учит, что в моменты переворотов головы летят почем зря — достаточно всегда имѣть перед глазами расправу Гитлера с группой капитана Рема лѣтом 1934 г. чтобы согласиться, что Авксентьев и его друзья буквально чудом сберегли свои жизни и в благодарность за это чудо они обязаны были, покинув предѣлы Сибири, молчать.

Их не только выпустили, их снабдили деньгами, каждый получил по 50.000, а семейный Аргунов получил даже 75.000, что, по тогдашнему курсу, составляло около десяти тысяч іен. Но еще в Китаѣ, в мѣстной англійской печати, появились

бесѣды с Н. Д. Авксентьевым: в них он живописал Колчака, как деспота, который, в случаѣ своего успѣха, вернет Россію к худшим временам царизма, Вологодскій рисовался маріонеткой в руках темных сил, а члены правительства, которое сам Авксентьев недавно возглавлял, описывались им под один колер: авантюристов и ничтожеств.

Пока Авксентьев и другіе члены Директоріи плыли по морям, на пути в Париж, у нас подобрался богатый матеріал о подрывной работѣ эс-эров в Сибири, но рѣшено было этим матеріалом воспользоваться только послѣ того, как станет очевидно, что Авксентьев и в Парижѣ ведет агитацію против власти адмирала Колчака.

Бабушка русской революціи Е. К. Брешко-Брешковская тоже не все одобряла из того, что дѣлалось в Омскѣ и тоже давала по пути в Америку интервью, но была гораздо сдержаннѣе в оцѣнках и, не будь она десятки лѣт связана с партіей соціалистов-революціонеров, она навѣрное публично признала бы, что не сомнѣвается в благородных намѣреніях Адмирала. Все героическое всегда находило отклик в сердцѣ этой удивительной старухи, всей своей бурно-пламенной жизнью доказавшей, на какія жертвы и подвиги способна русская женщина, когда она служит идеѣ.

В хлопотах по реорганизаціи Бюро, когда приходилось работать с 8 утра и до полуночи, я не придал должнаго значенія вопросам, которые мнѣ нѣсколько раз задавали разныя лица, был-ли я у министра финансов И. А. Михайлова? Я не только мог у него быть, но даже хотѣл ему представиться — так много о нем ходило в Омскѣ самых интри-

гующих для журналиста слухов. Но у меня не было повода к этому и я вовсе не считал, что обязан по должности ему представляться, поскольку не был ему подчинен и даже смѣту свою проводил через управленіе дѣлами совмина, а не непосредственно у минфина.

И, вдруг, однажды, в двадцатых числах января, Манкевич меня спрашивает:

— Вы до сих пор не были у Михайлова? Быть не может! Это может кончиться для вас трагически! Он и то уже про вас спрашивал...

Дѣйствительно, «глаза» Михайлова в Омскѣ преслѣдовали вас всюду. Вот именно эти его глаза. В прямом смыслѣ слова! О них в Омскѣ много говорили. Они были ясно свѣтлые, не то голубые, не то сѣрые, они смотрѣли настойчиво и казались видящими все. Потом, в Харбинѣ, И. А. Михайлов продѣлал на моих глазах довольно разнообразную карьеру, но, об этом здѣсь нѣт смысла говорить, как без документов под руками у меня нѣт основаній подробно останавливаться на всем том, что в Омскѣ говорилось про Михайлова, начиная с убійства Новоселова и кончая тѣм, что именно он был главной дѣйствующей пружиной в гибели Директоріи, появленіи у власти адмирала Колчака и во всѣх послѣдующих заговорах, интригах, возвышеніи одних и паденіи других. На ряду с изступленными противниками, у Михайлова в Омскѣ были горячіе поклонники.

Он от природы был надѣлен рѣдким даром привлекать на свою сторону нужных ему людей и умѣл заставить их работать на себя так, что тѣ

эту работу почитали за великое счастье. Эмиграція за 15 лѣт ничего не дала Михайлову, кромѣ разочарованій, но не будь у нас революціи он, при всѣх обстоятельствах, сдѣлал бы головокружительную карьеру. Трудно отрицать его склонность к использованію политической интриги, он внимательно читал Маккіавелли, но можно смѣло засвидѣтельствовать, что он не был в Омскѣ повинен и в десятой долѣ тѣх политических авантюр, которыя приписаны ему не только стоустой молвою, но и всѣми, кто писал об Омскѣ мемуары.

Прежде чѣм я пошел к Михайлову представляться, я уже знал, что он родился в карійской каторжной тюрьмѣ, будучи сыном извѣстнаго народовольца Адріана Михайлова и будучи, как яко бы он сам говорил, самым юным на каторгѣ. Эта случайная и, в условіях историческаго прошлаго Россіи, отнюдь не позорная связь его с политической каторгой от рожденія, психологически, однако, много способствовала созданію той репутаціи Цезаря Борджія, которой минфин пользовался в Омскѣ. Извѣстно мнѣ было также преданіе, может быть апокрифическое, при каких обстоятельствах ему пришлось уйти из Читинской гимназіи, до окончанія. Генерал-губернатор А. Н. Селиванов, отличавшійся нарочитой грубостью, проходя в Читѣ по фронту выстроенных для встрѣчи гимназистов, вдруг, будто бы, остановился против маленькаго Михайлова, который был в 7-ом или 8-м классѣ, и спросил его: «Ну, а ты, что обо мнѣ думаешь? ..» Михайлов будто бы отвѣтил остроумной дерзостью. Легенда казалась правдопобной, потому что Михайлов и впрямь отличался умѣніем

парировать словесные удары. Пришлось сдавать экзамен экстерном.

Далѣе, — Михайлов, по окончанiи Петербургскаго университета, был оставлен для подготовки к профессорскому званiю по кафедрѣ политической экономiи. Под руководством академика П. Б. Струве в годы войны он опубликовал двѣ работы, в частности: «О государственных расходах и доходах Россiи за время войны». Он был секретарем А. И. Шингарева и с ним участвовал в поѣздкѣ членов Государственной Думы во время войны в Англiю. Послѣ февральскаго перевора 1917 г., состоял в Петроградѣ управляющим дѣлами экономическаго совѣта при Временном Правительствѣ. Но не в этих фактических данных бiографiи, то же по своему интересной, было своеобразное обаянiе имени 29-лѣтняго министра финансов, котораго считали самым влiятельным человѣком в державном Омскѣ. Обаянiе питалось увѣренностью, что в Михайловѣ, как в фокусѣ перекрещиваются всѣ теченiя, интересы и интриги, которыми жила омская власть.

Совершенно открыто говорили о «группировкѣ Михайлова», она существовала даже в рядах совѣта министров. Говорили, что только один Михайлов разговаривает с адмиралом Колчаком, как равный с равным и не считает, что он у него служит. Во всем этом было много преувеличенiя и разговоры эти носили характер обывательской сплетни, но свое воздѣйствiе на умы они оказывали. Я тоже был убѣжден тогда, если не в том, что Михайлов всесилен, то во всяком случаѣ в том, что стоит Михайлову захотѣть и я буду немедленно «изъ-

ят из обращенія». Поэтому я рѣшил отправиться прямо в пасть к чудовищу со свѣтлыми глазами.

Я не долго ждал в министерствѣ финансов пріема и обратил вниманіе на то, что обставлено это министерство было лучше других. Оригинально было и то, что в кабинет министра меня ввели не сразу из пріемной, а каким то извилистым путем, через корридор и канцеляріи, — предосторожность не лишняя во время гражданской войны в отношеніи сановника с такой репутаціей, какая в Омскѣ была у Михайлова.

Его кабинет был воистину министерским: лучше, чѣм у Сукина, Тельберга и даже у самого премьера. До сих пор помню массивныя кресла, обитыя свѣтлым кретоном и моднаго рисунка. Министр финансов был одѣт во френч военнаго образца, брюки галиффэ и на ногах имѣл простые, но аккуратные сапоги. Он был видом очень свѣтел, выглядѣл еще моложе своих и без того молодых лѣт, был не по министерски подвижным, а глаза его оказались именно такими, какими я их себѣ представлял по разговорам: чуть на выкатѣ, настойчивые, какой-то странной прозрачности, не то голубые, не то сѣрые глаза.

Я не помню о чем мы с ним тогда говорили, в эту нашу первую встрѣчу, за которой послѣдовали сотни, а, может быть даже, и тысячи других встрѣч в разных городах, в разные годы и при разных обстоятельствах. Во всяком случаѣ, ни о чем особенно серьезном мы не говорили.

Он кажется интересовался, как у меня налаживается дѣло освѣдомленія за-границы о работѣ омскаго правительства и в эту или в слѣдующую

встрѣчу сообщил мнѣ с удовлетвореніем, что мы удачно передали его выступленіе в правительствѣ при прохожденіи бюджета. Радіо из Бордо эту нашу телеграмму с цифрами, которыми ловко играл министр финансов, распространило потом по всему свѣту и мы ее получили обратно, так сказать; послѣ путешествія кругом свѣта точно в том же видѣ, как отправили, без всяких сокращеній. Я запомнил голос Михайлова, голос совсѣм не для публичных выступленій с политической трибуны или кафедры, запомнил навсегда его манеру говорить быстро, но с поразительной четкостью, запомнил его молодые бѣлые зубы и хохолок свѣтлых волос над высоким чистым лбом; этот хохолок он любил, время от времени, трогать однообразным, характерным движеніем руки.

Михайлов был, конечно, и умен, и талантлив, и энергичен. Ему нравилось быть в водоворотѣ больших событій, он наслаждался возможностью творить политику и играть судьбой людей, которых прихоть революціи заносила в сѣти его вліянія. Был ли он опытен в вопросах финансовой политики, позволительно сомнѣваться. Но и до него и послѣ него, часто в міровой исторіи люди, далекіе от финансовой науки устраивали финансовые перевороты, достаточно вспомнить крушащія дѣйствія президента Ф. Рузвельта весной 1933 года.

Серьезным конкурентом Михайлову считался Феодосьев, не только потому, что он был министром до революціи, но и потому, что за ним еще в Петроградѣ упрочилась репутація способнаго финансиста.

Но карта Феодосьева была бита, когда в январѣ 1919 года, на одном из первых засѣданій государственнаго экономическаго совѣщанія под предсѣдательством Адмирала, Феодосьев не сдержался и, вмѣсто обоснованной критики финансовой политики правительства, стал мелко критиковать Михайлова и, в бюрократическом раздраженіи, сдѣлал намек, что у министра финансов руки в крови.

Михайлов мастерски отпарировал этот удар. Послѣ долгих рѣчей членов совѣщанія, он, рядом толково изложенных фактов, опроверг обвиненія Феодосьева в том, что печатаніе денег поставлено неумѣло, что выпускаются деньги только крупных купюр, а, потом, с едва замѣтной ироніей разсказал собравшимся, как ѣздит он каждое утро в экспедицію заготовленія государственных бумаг и так как знаком с печатным дѣлом, то сам прикладывает руку к печатанію денег и если его руки в чем замараны, то только в типографской краскѣ. Здѣсь была и игра слов: под типографской краской можно было подразумѣвать наскоки на Михайлова полулегальных изданій, которые тоже звали минфина убійцей и на информацію которых положился царскій сановник.

В дальнѣйшем вопрос о замѣнѣ Феодосьевым Михайлова уже не поднимался. Когда Михайлову пришлось уйти от власти, осенью 1919 года, его смѣнил Л. В. фон-Гойер.

Но эта ремарка высокаго петербургскаго сановника в отвѣтственном государственном совѣщаніи, в присутствіи носителя верховной власти, в адрес министра финансов, на счет крови на руках, обвиненія никак недоказаннаго и как будто бы все таки

вздорнаго, служит прекрасной иллюстраціей как мало было не то, что доброжелательства, но даже просто элементарной терпимости друг к другу среди тѣх, кто творил в Омскѣ политику.

ВНѢШНЯЯ ПОЛИТИКА

Прежде всего о том мѣстѣ, гдѣ она творилась. В дипломатіи не только человѣк красит мѣсто, но и мѣсто человѣка. Недаром так часты метонимiи во всѣх писаніях по вопросам внѣшней политики: вмѣсто французскаго министерства иностранных дѣл любят употреблять опредѣленіе «Кэ Д'Орсай» вмѣсто германскаго — «Вильгельм Штрассе», англійскаго — «Даунинг Стрит», а про старый русскій центр внѣшней политики говорили « у Пѣвческаго Моста».

В омском министерствѣ иностранных дѣл мнѣ приходилось бывать буквально ежедневно, приблизительно между 10 и 11 часами утра, на докладѣ у министра. В самом началѣ это был проф. Г. К. Гинс, а потом И. И. Сукин, который стал затѣм оффиціально именоваться «управляющим министерством», для того, чтобы доминировать над остальными товарищами министра. Общее руководство внѣшней политикой бѣлых фронтов было предложено С. Д. Сазонову, который находился в Парижѣ. К назначенію Сазонова французское правительство отнеслось весьма благопріятно.

С одной стороны омская власть все время претендовала на то, чтобы разсматриваться властью всероссійской, а, с другой, в Омскѣ не было ни архива, ни фактическаго запаса всѣх тѣх данных, которыми должен располагать глава вѣ-

домства внѣшних сношеній, когда он говорит с представителями иностранных государств: что знали в Омскѣ по польскому вопросу, о Финляндіи, на счет сил, содѣйствовавших отдѣленію от Россіи Латвіи, Эстоніи и т.д.? Сазонову, как министру иностранных дѣл омскаго правительства в Парижѣ, было легче справиться с дѣлом ознакомленія правительств Антаны по указанным вопросам, тѣм болѣе, что центр міровой политики находился в это время в Парижѣ, гдѣ работала Версальская конференція.

Единственная дипломатическая проблема, которая должна была быть конкретно рѣшена в Омскѣ, это вопрос об оріентаціи или на Японію или на Америку.

Наибольшую активность в Омскѣ проявляли, как выше подчеркивалось не раз, представители Англіи и Франціи, между тѣм реальная помощь могла бы послѣдовать как раз не от них, а от Японіи и Америки. Японія двинула в предѣлы Россіи на ея дальневосточную окрайну солидные кадры своих сухопутных сил и упрочила свою позицію в Забайкальи. Америка, которая была люба сердцу всѣх демократических элементов, разсматривалась как будущій покровитель свободной демократической Россіи и в особенности Сибири, если та, ходом исторических событій, станет все таки автономной. От Америки наивно ждали если не хлѣба, то всего прочаго: машин, с.х. орудій, тракторов, автомобилей, рельс, локомотивов, аэропланов, обуви, мануфактуры, всего, что трудно было достать в 1918-19 г. г. в Сибири и что, казалось, вдосталь имѣется в

Америкѣ. Далѣе, было извѣстно, что Америка не претендует и претендовать не может на територіальные захваты.

К Японіи в Сибири относились если не с опаской, то с недовѣріем. Борьба шла за «великую, недѣлимую», а еще свѣжи были на памяти взрослаго населенія переживанія в связи с пораженіем Россіи в 1904-5 г. г. Многіе военные дальновидно стояли за безоговорочный союз именно с Японіей, но штатскіе политики разсуждали, что лучше опираться на обще-союзную помощь и, во всяком случаѣ, играть на соперничествѣ Соединенных Штатов с Японіей.

Далѣе, трезвое рѣшеніе по указанному вопросу, по крайней мѣрѣ в широких кругах омской общественности, затруднялось позиціей, которую представители японскаго командованія на русском Дальнем Востокѣ заняли в отношеніи поддержки сепаратистской политики ат. Семенова в Читѣ.

Омское министерство иностранных дѣл отлично понимало, что политика Японіи в Россіи не может быть схожей с ея политикой в Китаѣ. Министерство знало, что в Японіи «так же, как в любом государствѣ, существуют различныя партіи, исповѣдующія различныя убѣжденія. Крайняя правая военная партія и лѣвая оппозиція соперничали в рѣшеніи сибирскаго вопроса. Японскій народ проникнут глубоким національным чувством, но из этого чувства не вытекает неизбѣжно желаніе захватить русскія области, увеличить территорію за счет заболѣвшей революціонным процессом Россіи.»

Как правильно расцѣнивал положеніе Гинс-присоединеніе Сахалина, с его богатѣйшими за-

пасами угля и нефти, и района Николаевска-на-Амурѣ, как ключа к рыбным богатствам-это могло быть несомнѣнным реальным интересом Японіи. Но не меньшим интересом уже тогда для Японіи являлось устраненіе большевистской заразы из Сибири, возстановленіе в ней порядка и возобновленіе торговых сношеній. Задача русской политики должна была заключаться в опредѣленной помощи с одной стороны и опредѣленной компенсаціи с другой. Гинс признавал, и я, как человѣк, прибывшій в Омск с Дальняго Востока, был с ним согласен в том, что японская оріентація была бы не союзом агрессивнаго характера, а признаніем безусловной необходимости в согласованных дѣйствіях двух націй. Кромѣ того, умѣлая, продуманная японская оріентація автоматически выбивала скамейку из под ног дальне-восточных сепаритистов.

Но И. И. Сукин, взявшій с конца января бразды правленія в министерствѣ иностранных дѣл в свои руки,—Гинс заболѣл сыпным тифом, и надолго был выведен из строя,—думал нѣсколько иначе. В Омскѣ политическіе круги его опредѣленно заподазривали в ярко выраженных американских симпатіях и, в этом отношеніи, были не далеки от истины. Во всяком случаѣ на судѣ, устроенном совѣтской властью в Омскѣ послѣ паденія власти Адмирала над омскими министрами, не только Сукина, но и пишущаго эти строки обвиненіе называло «агентами американскаго имперіализма».

Если провести параллель между Гинсом и Сукиным, то первый должен быть квалифицирован, как дипломат общественник, а второй, как дипло-

мат—техник. Чиновником и только Сукина никак назвать было нельзя: не потому только, что еще до Омска он продѣлал блестящую для его молодых лѣт карьеру, но и потому, что он поражал умѣніем разбираться в международной обстановкѣ, умѣл ярко и убѣждающе излагать свои мысли, отлично владѣл языками, знал в совершенствѣ кухню дипломатіи и обнаружил выдающіяся дарованія политика. В Омскѣ он быстро завоевал поддержку адмирала Колчака, на первых порах полную, был своим человѣком в Ставкѣ, установил, по началу, тѣсный контакт с Михайловым и держался со всѣми иностранными дипломатами, как равный с равными, на дружеской ногѣ.

Гинс был сдержан, вдумчив, умѣл отмолчаться, не бросал слов на вѣтер, в писаніях своих был гораздо ярче, чѣм при личном общеніи. Сукин мог покорить сразу. Впрочем, он иногда сразу против себя и возстанавливал.

Как и Михаилов, он был небольшого роста, гардероб вывез из Америки, носил большіе американскіе роговые очки и любил элегантность: элегантно подстригал усики, элегантно, с нарочитой небрежностью, вынимал и затыкал обратно в боковой карман пиджака носовой платок, ногти имѣл полированными, курил элегантныя египетскія сигареты, хотя иногда по мальчишески кашлял от них и обжигал ими элегантные пальцы. Душился, впрочем не сильно, слегка пудрился послѣ бритья, отлично играл на рояли и, вообще, служил объектом подражанія для молодых чиновников министерства и предметом разговоров у барышень не только у себя в министерствѣ, но и

в Совминѣ.

Сукин был немножко надмѣнен, был большим оптимистом, главным образом потому, что был на всѣ сто процентов увѣрен в себѣ, было в нем что-то хлыщеватое, что, конечно, прошло с годами. В нормальных условіях он мог сдѣлать большую карьеру, если бы преодолѣл в себѣ снобизм, который особенно рѣзал глаза из за миніатюрнаго роста кандидата в омскіе Талейраны. В отношеніи меня Сукин всегда был подчеркнутой любезностью, никогда не повысил голоса, ни разу даже не проявил своего неудовольствія. В общем, с ним было бы легко работать, если бы он куда то постоянно не торопился.

Гинс, не сильный тогда в дипломатической техникѣ, сугубое вниманіе удѣлял общественной сторонѣ дипломатіи—давал интервью, сам составлял телеграммы информаціоннаго характера. Сукин же главным образом работал технически: ноты, меморандумы, дипломатическія встрѣчи, визиты, пріемы, все спорилось под его элегантными руками, которыя в часы отдыха так мастерски бѣгали по клавишам рояля. Этот подтянутый и с холодком эвропеизм или американизм Сукина вряд-ли давал ему возможность заглянуть вглубь того сложнаго и кроваваго процесса, который называется водоворотом революціи.

Гинс, вступив в управленіе министерством, тотчас дал пространное интервью о сущности современной дипломатіи.

Это интерью привело в полный восторг директора бюро печати А. И. Манкевича, все никак не могшаго успокоиться послѣ сверженія Директоріи.

В своем интервью Гинс подчеркивал, что наши дипломатическіе успѣхи зависят сейчас меньше всего от искусства дипломатических переговоров. Первый наш дипломат-армія. Второй по значенію дипломат-это общественная солидарность. Третій дипломат-это могущественная печать. Она выражает настроенія и чаянія народа.

Вступив послѣ Гинса в управленіе министерством, Сукин никакого интервью не дал. Вообще я не помню, чтобы он давал какія либо интервью для русской печати. Этой привиллегіей пользовались у него исключительно иностранные корреспонденты, которые к нему имѣли свободный доступ, днем и ночью.

Но за то он сейчас же приступил к переговорам с представителями союзных держав на счет путей признанія Омска Антантой, организаціи представительства в Версали, на счет возстановленія транспорта, об охранѣ желѣзных дорог, при чем добивался, чтобы американцам была поручена охрана желѣзнодорожных туннелей, на что адмирал Колчак рѣзко не согласился. Надо было Сукину также выяснить роль ген. Жанена, разрѣшить вопросы о положеніи поляков, сербов, румын и др., вопрос о военноплѣнных и, кромѣ того, надо было поддерживать постоянныя сношенія с представителями довольно капризнаго чешскаго командованія и с д-ром Павлу.

Представители Антанты много говорили о помощи, но сами не знали, как взяться за организацію этой помощи. Опредѣленнаго плана у них не было, сокровенной сути происходящих в Россіи событій многіе из них до конца не усваивали,

большинство из них так устало душею от великой войны, что, послѣ заключенія перемирія 11 ноября 1918 года мечтало лишь о законном отдыхѣ, а здѣсь, как будто, все приходилось начинать сначала. Если бы союзные дипломаты могли еще смотрѣть на Сибирь, как на возможную для них колонію и обращаться с русскими как принято обращаться в колоніях с мѣстным населеніем—они слѣдовали бы испытанным образцам колоніальной политики. Но тут перед ними был сложный и противорѣчивый феномен кровавой революціи и гражданской войны, они знали что тѣ, кто боролись с большевиками, имѣли право не только просить, но даже требовать от союзников помощи, их давили пространства Сибири, их обезкураживала пестрота политических группировок, их утомляла эта смѣна и противорѣчіе мнѣній, отсутствіе элементарнаго единства в бѣлом станѣ и от попыток что-то понять и в чем-то разобраться они потом переходили к политикѣ « laissez faire, laissez passer » или еще худшей: « why worry? »

В их распоряженіе были предоставлены или они сами требовали для себя лучших вагонов, преимущественно Международнаго Спальнаго Общества, они путешествовали в собственных поѣздах, даже не с одним, а с двумя, подчас, вагонами ресторанами, они посѣщали Верховнаго Правителя, премьера, министерство иностранных дѣл, Ставку, сидѣли за банкетными столами, устраивали иногда пріемы у себя, они совѣщались, разговаривали, при случаѣ жуировали, получали колоссальные командировочные и, в сущности, по праву чувствовали себя посторонним элементом в той тревожной

и путаной обстановкѣ, которая всегда характеризует тыл междоусобных войн.

Винить омских представителей Антанты тѣм болѣе не приходится, что в Европѣ и даже в верхах Версальской конференціи тоже не знали, что же в концѣ концов, дѣлать с Россіей—душить ли большевиков, как предлагали Черчиль и Клемансо, вооруженной интервенціей или пригласить и бѣлых и красных сговориться между собою, к чему склонялись Ллойд-Джорж и Вильсон.

Результатом этой общей неразберихи и путаницы в усталых умах явилось знаменитое приглашеніе на Принцевы Острова. Адмирал Колчак понял сразу его зловѣщій для бѣлой борьбы смысл:

—«Господа, вѣдь это—предложеніе мира с большевиками, — сказал он, ознакомившись с текстом радіограммы 25 января во время доклада по министерству иностранных дѣл». Точно также воспринято было это радіо и в нашем иностранном бюро печати. Мы чувствовали, как почва уходит из под наших ног. Из министерства мнѣ был передан приказ задержать радіо для опубликованія, впредь до указаній лично от Адмирала.

На слѣдующій день, в воскресенье 26 января, у адмирала Колчака собрались высокіе комиссары: Франціи—Реньо, привѣтливый старичек и Англіи мрачный, неразговорчивый сэр Чарлз Элліот. Они сами были смущены и озадачены. Реньо все-таки просил Адмирала, до полученія подробных разъясненій из Парижа, не отказываться рѣзко и сразу от сдѣланнаго предложенія. К нему присоединился и Элліот. Адмирал блестяще вышел из положенія: он отвѣтил, что не считает полученное радіо пред-

ложеніем, и, так как оно неясно по содержанію, в виду нѣкоторых искаженій, то он вовсе не бует на него отвѣчать. Он сдѣлает только одно: отдаст приказ по войскам, что разговоры о перемиріи с большевиками распространяются врагами Россіи и что он готовится к наступленію. Это будет не отвѣт правительства, а приказ главнокомандующаго.

Печать в тот-же день получила возможность огласить радіо с предательским предложеніем. Комментаріи были единодушны. Но свое разлагающее впечатлѣніе приглашеніе на «Собачьи острова» сдѣлало.

Г. К. Гинс вспоминает в своей книгѣ, что адмирал Колчак, послѣ отъѣзда Реньо и Эллiота, мрачно замѣтил:

— «Что вы скажете об этих союзниках?»

Через год приблизительно, на допросѣ в тюрьмѣ у совѣтскаго комиссара в Хабаровскѣ по иностранным дѣлам, я услышал тот-же вопрос:

— Что же вы думаете, союзнички вас предали теперь, когда они нам выдали Колчака или тогда, когда они вас приглашали разговаривать с нами на Принцевы Острова?

Объективно на этот вопрос может отвѣтить только отдаленная исторія.

ОМСК СНАРУЖИ

Никогда прежде и, навѣрное, никогда в своем будущем Омск не сможет походить на тот бурливый муравейник, которым он был зимой 1918 и лѣтом 1919 года, являясь центром бѣлой власти, старавшейся укрѣпить свой престиж от берегов

Камы и даже Волги, на Уралѣ, через всю Сибирь, Западную и Восточную, вплоть до русских областей Дальняго Востока, включая Амур, Приморье, Камчатку и Сахалин. И никогда ни прежде, ни послѣ, Омск не будет столь колоритно красочным, как в описываемый період, когда населеніе его доходило до шестисот тысяч, когда одних офицеров числилось, по спискам комендантскаго управленія, чуть не с десяток тысяч, в воинских частях и по канцеляріям, когда в Омскѣ проживала вся интеллигенція, дворянство, профессора, торговый класс, духовенство из Казани, Самары Симбирска, из Перми, Уфы, а, потом, Екатеринбурга, когда в Омскѣ были представители воинских частей и дипломаты чуть ли не половины Европы.

На Любинском проспектѣ, гдѣ по праздникам на троттуарах двигалась стѣной шумящая толпа, можно было встрѣтить кого угодно: довольные собой, отъѣвшіеся чехи, в своих характерных болотнаго цвѣта шинелях, англійскіе солдаты, шагавшіе стаями в поисках случая познакомиться с мѣстными жеманницами, французскіе офицеры, итальянцы из военной миссіи в своих на рѣдкость эффектных формах, отдѣльные японскіе солдаты, понаѣхавшая публика из Америки, как их в Омскѣ звали тогда — «американскіе мальчики», в неизмѣнных черепаховых очках, с догола пробритыми подбородками: солдаты вновь формируемых національных частей — поляки, румыны, сербы: «всѣ промелькнули перед нами, всѣ побывали тут»...

Но больше всего было, конечно, русских воинских шинелей, начиная блестящими, до пят, ши-

нелями кавалерійскаго образца, в которых любила щеголять офицерская молодежь, главным образом из числа тѣх, кто не особенно торопился подаваться на фронт, и кончая потрепанными шинелишками тѣх незамѣтных героев, на доблести и жертвенности которых, в сущности, и держалась вся эта мишурная внѣшность временной столицы.

Как-то особенно много развелось в это время в Омскѣ барышень-машинисток; их во всяком случаѣ было гораздо больше, чѣм пишущих машинок, а послѣднія, в большинствѣ случаев, работали без лент, стучали на них в слѣпую; «читабельный» оттиск получался только через копирку. О, эти омскія пишущія машинки — свезенныя сюда со всѣх концов восточной Россіи, самых странных и причудливых, чаще всего доисторическаго образца, — марок. Но, что подѣлать: именно в это время стал ходячим афоризм, что для того, чтобы создать правительство, надо по крайней мѣрѣ, имѣть пишущую машинку.

Барышни при пишущих машинках населяли омскія канцеляріи тысячами, и являлись самым прочным и, если угодно, самым дѣеспособным элементом: мужчины приходили и уходили, то их повышали по службѣ, то перебрасывали в другой отдѣл, то просто призывали в армію. Барышни оставались, все знали, все исполняли, несмотря на грошевые оклады ухитрялись быть кокетливо одѣтыми и даже пудрили, неизвѣстно чѣм и довольно часто свои хорошенькіе носики. За ними всѣ ухаживали, не говоря уже про сослуживцев, на перебой всѣ иностранцы, водили их в кафе, угощали кинематографом, потому что, несмотря на

всѣ ужасы междоусобной войны и лицемѣрные сокрушенія тѣх, кто и до сих пор упражняется в желаніи очернить все, что было и что дѣлалось в Омскѣ, жизнь там текла нормально и в этой нормальности обывательской жизни державнаго Омска «несмотря ни на что», было главное даказательство того, что Бѣлое Дѣло было дѣлом правым и бѣлая власть хотѣла прежде всего вернуть Россію к нормальной жизни. Поэтому мнѣ нисколько не стыдно вспоминать даже мелочи омской жизни, нисколько не стыдно сохранить для потомства то, что мы не только работали и волновались, кипѣли вѣрой и боролись, как умѣли, но и ходили в гости в свободную минутку, гуляли по Любинскому проспекту, сидѣли в кафе, пили ликер, когда больше было денег в карманѣ, и даже раз ваш покорный слуга вмѣстѣ с директором РТА (Россійскаго телеграфнаго агентства) участвовали в пикникѣ на пароходѣ, ходившем верст за двадцать пять от Омска в сторону Тары и на этом пароходѣ в тот пикник, в лѣтній погожій день, находился, вмѣстѣ со всѣми на палубѣ, предсѣдатель совѣта министров П. В. Вологодскій со всей семьей, никѣм не охраняемый и даже не возбуждавшій к себѣ никакого особеннаго вниманія. Ну ка, вы, осуждающіе, до сих пор критикующіе и даже поносящіе память бѣлаго Омска, попробуйте представить себѣ в тот самый 1919 год в Москвѣ, Ленина, Троцкаго, или Свердлова, которые рискнули бы этак запросто без всяких тѣлохранителей, среди случайной публики, прокатиться пикничком для отдыха в воскресный день, на большом пассажирском пароходѣ. Во всем этом не слабость

была Омска, а сила его, вѣрнѣе сила той идеи, которая превратила Омск на полтора года в базу борьбы с совѣтской властью, несмотря на то, что совѣтская власть владѣла столицами Россіи, а по жестокому закону исторіи окрайны за рѣдкими исключеніями не в силах побѣдить центр.

В моей памяти до сих пор стоит, как живая, панорама Любинскаго проспекта, кипящаго напряженной жизнью, главной артеріи внезапно разбухшаго города, и в перспективѣ четко рисуется квадратная вышка «Совмина», над которой то лѣниво плескается, то гордо рѣет трех цвѣтный флаг и бѣлые пароходы на Омкѣ жмутся парами к суетливым пристаням и, еще дальше, — «домик на Иртышѣ» или, как тогда нѣкоторые пытались называть: «дворец Верховнаго Парителя».

Потом вспоминается, в разгар успѣхов омской власти, пасхальная заутренная 1919 года в кафедральном соборѣ, очень торжественная, очень величавая, день, когда Верховный Правитель принял пожалованный ему орден Св. Георгія 3-ей степени и когда, потом, генерал Жанен, во главѣ огромной свиты, этак человѣк пятнадцать вмѣстѣ с ним, визитировал: был у Адмирала, был у военнаго министра и нагрянул к начальнику главнаго штаба ген. Марковскому, как раз тогда, когда я там был.

Было странно видѣть этого эффектнаго французскаго генерала в парадном мундирѣ и с орденами на груди, котораго уже тогда не любили в Омскѣ и который христосовался по православному обряду. Усы генерала благоухали шипром. Он с отмѣнным удовольствіем попробовал рюмку дѣйствительно замѣчательной старой водки, смир-

новки, прозрачной как слеза, которую богачиха Шанина послала для пасхальняго стола в дом Верховнаго Правителя, ген. Степанову и І. В. Марковскому.

И в тот-же день, первый день перваго и послѣднаго Воскресенья Христова для державнаго Омска, когда от Марковских я возвращался домой, мимо меня по Любинскому прослѣдовал большой, длинный защитнаго цвѣта, открытый автомобиль. Сначала я посмотрѣл на плавно и неспѣшно двигавшійся автомобиль этот безучастно, но, вдруг, мгновенно замер от волненія: впереди у руля, рядом с солдатом-шоффером сидѣл ординарец, а, сзади, один на сидѣніи, находился:

— Адмирал Колчак.

С троттуара до автомобиля было не больше десяти шагов, но Верховный Правитель ѣхал без всякой охраны. Какой другой диктатор, в зенитѣ своих успѣхов, в разгар безпощадной войны, при этом войны гражданской, когда по внѣшности нельзя отличить друга от недруга, а каждый недруг есть заклятый враг, какой другой диктатор рискнул бы совершить такую прогулку по улицам, переполненным в праздничный день толпою, в городѣ, гдѣ совѣтскіе агенты кишмя кишѣли и скрытых недоброжелателей было не перечесть ..

Не только в этот день, но и долго потом я находился под впечатлѣніем этой случайной, но так пронзившей мое сознаніе встрѣчи.

СУРРОГАТ ПАРЛАМЕНТА

В колчаковском Омскѣ не было и не могло быть парламента—прежде всего потому, что об-

становка и атмосфера гражданской войны не допускают парламентарных форм управленія. Идея народоправства у нас вообще не пустила глубоких корней в сознаніи болѣе или менѣе широких масс, Государственная Дума и та, в сущности, по настоящему интересовала только общественные верхи, была близка сердцу интеллигенціи и либерально настроеннаго чиновничества. Эта идея была мгновенно скомкана и дискредитирована ходом революціонных событій. Государственная Дума превратилась в фикцію, петроградскій предпарламент напоминал траги-комическій фарс на фонѣ, забиравшаго все большую власть, совѣта рабочих и солдатских депутатов, а что касается Сибирской Областной Думы, то одно уже ходячее опредѣленіе ея, как «Сиболдумы» доказывает, что о ея популярности или вліяніи в массах нечего и говорить.

Активными элементами на просторах Россіи к 1919 году были или тѣ, кто, сознательно и убѣжденно, а слѣдовательно и ожесточенно сжимали в руках оружіе, им импонировила только диктатура справа—в душѣ они, конечно, были монархистами; или тѣ, кто вѣрил в вольницу большевистскаго разгула, ненавидѣл старый режим, во всѣх его проявленіях, и считал бѣлую власть и бѣлое движеніе попыткой «помѣщиков , генералов и попов» возстановить то, что было свергнуто революціей. Между этих двух полюсов конденсированнаго соціальнаго электричества всякая попытка возрожденія хотя бы видимости демократических форм управленія, таяла как, воск на тоненькой свѣчкѣ. И, все таки фатально получалось так, что бѣлая власть не могла обходиться хотя бы без фикціи парламен-

таризма—ей самой нужен был этот защитный фон —тогда вѣдь и в мыслях никто не имѣл, что родится идея фашистской диктатуры в противовѣс диктатурѣ пролетаріата и начнется мучительный и длительный процесс затуханія идеи формальной демократіи. Кромѣ того, союзники, Антанта, тот синедріон в Версали, который возглавлялся Вильсоном, Клемансо, Ллойд-Джорджем и признанія котораго фатально искали бѣлые вожди, требовал от них, как первое условіе офиціальнаго благорасположенія, демократической внѣшности.

Есть оригинальная книжка французскаго аристократа и политическаго дѣятеля Де-Монзи, имя котораго навсегда связано с піонерством в смыслѣ признанія буржуазным и капиталистическим міром совѣтскаго государства. Называется она: «В Россію и обратно» (От Кремля до Люксембургскаго Дворца). Писалась книжка в 1924 году. Но одно мѣсто в ней продолжает быть остро интересным для нас и посейчас—мѣсто, гдѣ сей сенатор и титулованный большевизан, человѣк безспорно большой европейской культуры и вѣроятно не плохой сын своей родины, расцѣнивал отношеніе Европы к царству рабоче-крестьянской диктатуры. Вот его тезисы: стр. 12-13.

«1. 1917 год: Мы предупредительно спѣшим признать національныя государства, впопыхах создавшіеся на обломках Россіи. 5 января 1918 года мы признаем Финляндскую Республику правители которой 9-го октября 1918 года предлагают корону Финляндіи Фридриху- Карлу Гессенскому, ближайшему родственнику Вильгельма II.

«2. Января 1919 года. Мы приглашаем для мир-

ных переговоров одновременно и представителей большевисткаго правительства и делегатов балтійских стран, а также делегатов групп, какія находятся в войнѣ с вышеназванными правительствами. По поговоркѣ: чѣм больше будет весельчаков, тѣм больше будет смѣху... над мирными переговорами.

«3. 12 іюня 1919 года союзники, по иниціативѣ Франціи, признали де факто возникшее в Омскѣ правительство Колчака, хотя послѣднее отказалось признать независимость балтійских государств, нами уже признанных.

«4. 6 февраля 1920 года, Мильеран, предсѣдатель совѣта министров и министр иностранных дѣл, опредѣлил наше отрицательное отношеніе к русскому большевизму. Он гарантировал военную поддержку Франціи всѣм признанным нами де-юре и де-факто правительствам,—на случай, если им будет угражать красная Россія, с которой мы никаких дипломатических отношеній имѣть не будем.

«5. Два мѣсяца спустя, 20 апрѣля 1920 года, французскій консул г. Дюшен, подписывает с Литвиновым в Копенгагенѣ одну из тѣх конвенцій о возвращеніи на родину плѣнных, какія обычно являются прелюдіей к конвенціям торговым и дипломатическим.

«6. В том же году, 11 августа 1920 года, охваченное противоположными настроеніями, французское правительство—на этот раз только оно одно—признает, в качествѣ фактически существующаго правительства, генерала Врангеля.»

Упрек в шаткости позиціи, конечно, справедлив, но отнесен он должен быть не только к Фран-

ціи, но и к Англіи гдѣ сначала согласились, а потом испугались принять Государя и его Семью, равно как и к Америкѣ, которая послала свои войска на русскій Дальній Восток участвовать в возрожденіи національной Россіи, а эти войска держали скандальный нейтралитет между бѣлыми и красными, втайнѣ симпатизируя больше тѣм, с кѣм должны были сражаться.

Во всяком случаѣ и тезисы, цитированные выше, подтверждают, что имѣя монархическую сущность бѣлая власть внѣшне, при этом вполнѣ искренне и уж во всяком случаѣ честно, обѣщала и созыв національнаго учредительнаго собранія и вѣрность принципам народоправства и идеалам демократіи. Нам казалось это совмѣстимым, широк русскій человѣк, недаром Достоевскій все хотѣл его сузить, но сторонніе наблюдатели оставались при особом мнѣніи.

Послѣ обновленія личнаго состава совѣта министров весной 1919 года, послѣ ухода военнаго министра Степанова, послѣ замѣны министра внутренних дѣл Гаттенбергера, В. Н. Пепеляевым, а министра юстиціи Старынкевича профессором Тельбергом, министра просвѣщенія Сапожникова Преображенским, послѣ того, как вынужден был уйти в отставку Н. С Зефиров, а портфель министра торговли был передан Михайлову и тот стал «министром в квадратѣ», власть почувствовала острую необходимость подвести под себя ту или иную общественную базу. Сначала выдвинули идею учрежденія Государсовеннаго Совѣта, но от этого названія слишком пахло реставраціей. Истерически настроенный адвокат Жардецкій, вхожій к Адмиралу,

разработал проект законосовѣщательнаго органа, который он предлагал назвать «Совѣт Верховнаго Правителя», но восторжествовала, как всегда, половинчатая идея развернуть уже существовавшее Государственное Экономическое Совѣщаніе в предпарламент путем включенія в его состав выборных представителей земств, городов, коопераціи, профессіональных союзов и путем расширенія сферы его компетенціи.

Торжественное открытіе работ Государственнаго Экономическаго Совѣщанія в его полном составѣ состоялось 19 іюня 1919 года, в залѣ судебных установленій. На трибунѣ помѣщался стол президіума, слѣва от него был столик, кафедра для ораторов внизу расположился секретаріат, прямо пред секретаріатом поставили стулья для членов совѣта министров, слѣва, сразу от возвышенія, находились кресла для чинов дипломатическаго корпуса, справа, около министров, сидѣли мы, руководители к этому времени уже полностью развернутаго, Русскаго Бюро Печати, а центр зала занимали члены Государственнаго Экономическаго Совѣщанія и за ними, за барьером, находилась немногочисленная публика, в большинствѣ или близкіе к правительству люди или высшіе чины министерств. Церемоніал торжества открытія был довольно удачно разработан и произвел импонирующее впечатлѣніе не только на своих, но и на «знатных иностранцев». Детали этого дня (торжество происходило часов около четырех) до сих пор свѣжи в моей памяти.

До пріѣзда Адмирала я бесѣдовал с И. А. Михайловым. Мнѣ было извѣстно, что в церемони-

мейстерской части шел страстный спор завѣшивать или не завѣшивать огромный, во весь рост, портрет Императора Александра II, который, как творец эпохи судебных реформ, имѣл всѣ основанія осѣнять своим изображеніем залу засѣданій судебных установленій. Но портрет Императора, хотя бы и давно почившаго, мог быть неблагопріятно истолкован нѣкоторыми высокими иностранными представителями, заботившимися о «демократическом ликѣ» омской власти. В концѣ концов, все таки возобладала точка зрѣнія: портрет не снимать и не завѣшивать. И вот минфин Михайлов, со свойственным ему проворным говорком, бросил полушутливо в нашу «ложу» печати, ремарку:—«Адмирала посадят как раз под портретом жертвы террора. Нѣт ли в этом провиденціи?» Он сказал это, может быть, и случайно, но я его слова воспринял очень серьезно, мнѣ они показались зловѣщими и, как вскорѣ оказалось, это предсказаніе сбылось на берегах Ангары.

Верховнаго Правителя встрѣтили почетным караулом—кажется, это была часть из личнаго конвоя, подтянутые, молодцоватые интеллигентнаго вида солдаты. Адмирал быстро прошел к трибунѣ, сѣл за стол, крытый зеленым сукном и объявил засѣданіе открытым. Я в первый и послѣдній раз видѣл его в этот день говорящим публично. Кажется он не читал своей рѣчи, во всяком случаѣ голова его не была наклонена к бумагѣ. Он говорил глухим, энергичным, немножко осѣвшим по морскому голосом и четко, ясно строил и округлял фразы. Помню начало его рѣчи наизусть:

—«Господа члены Государственнаго Экономиче-

скаго Совѣщанія! 18 ноября я принял бремя верховной власти, 22-го ноября я созвал первое экономическое совѣщаніе и поставил ему задачей одѣть и обуть нашу армію.

В залѣ стояла напряженная, как бы звенящая тишина. Верховный Правитель продолжал:

—Первая задача, которую я ставлю экономическому совѣщанію—это рѣшеніе вопросов снабженія нашей арміи и обезпеченіе экономическаго положенія участников борьбы. Второй вопрос—бюджет. Разбор бюджета государства даст возможность оцѣнить работу власти. Третій— оплата труда. В разрѣшеніи вопроса земельнаго, одного из сложнѣйших вопросов, которые приходилось государству рѣшать, я также ожидаю помощи от Государственнаго Экономическаго Совѣщанія».

По правую руку от Адмирала сидѣл предсѣдатель совѣщанія Г. К. Гинс, по лѣвую предсѣдатель совѣта министров П. В. Вологодскій. Они оба, потом, произнесли рѣчи и оба начали свои рѣчи обращеніем: —«Ваше высокопревосходительство, Господин Верховный Правитель!» За ними и всѣ послѣдовавшіе ораторы употребляли ту же форму обращенія, за исключеніем представителя одного из казачьих войск, который подчеркнуто начал свое слово без «высокопревосходительства» и назвал Верховнаго Правителя «гражданин». Оригинально и знаменательно было то, что этот демократическій оратор был единственным из выступавших в военной формѣ.

Г. К. Гинс начал свою рѣчь с подведенія итогов:—«Открытіе работ Государственнаго Совѣщанія совпадает с годовщиною образованія в Омскѣ

ядра центральной власти—отдѣлов Западно-Сибирскаго Комиссаріата, которые преобразовались затѣм в министерства сначала Сибирскаго, а впослѣдствіи Всероссійскаго правительства. Это был историческій момент, когда смѣлость и самопожертвованіе подали одна другому руку и творили чудеса. Правительство не располагало тогда арміей, оно имѣло только добровольцев. Не было власти и порядка на мѣстах. Земскія самоуправленія, впервые появившіеся в Сибири в концѣ 1918 года, были разогнаны большевиками. Казна была ими ограблена—государство не имѣло достаточнаго количества денежных знаков и не имѣло возможности их выпускать».

Это Государственное Совѣщаніе существовало довольно долго—в нем скоро создались свои группировки, были и интриги, даже стулья в залѣ старались расположить на манер Государственной Думы, но, в общем, оно было лойально власти и свою роль сыграло.

Когда мы шли пѣшком, с этого совѣщанія: А. К. Клафтон, проф. Д. В. Болдырев, Н. В. Устрялов, С. Б. Сверженскій, по Любинскому проспекту, через мост на Омкѣ, в кафэ «Люкс», и когда, потом, мы в этом кафэ сидѣли и обмѣнивались впечатлѣніями от открытія предпарламента, завязался спор о роли, которую сыграет омская власть в исторических судьбах Россіи.

Помню хорошо, что Устрялов настойчиво доказывал, что эпоха Омска будет малым этапом в ходѣ русской революціи и в исторіи Россіи имена омских дѣятелей не появятся, сохранится имя только адмирала Колчака. Нам всѣм в душѣ было не-

много обидно от этих слов. Устрялов добавил:

—Вообще в истор!и не было примѣра, чтобы окраины побѣждали центр!

Пессимизм все болѣе овладѣвал сознанiем человѣка, которому в Омскѣ судьба уготовала играть ту же роль, которую в Москвѣ играл Свердлов, он был предсѣдатеяем центр. комит. Восточнаго отдѣла партiи Народной Свободы, единственной партiи, которая имѣла извѣстное право говорить, что она близка власти.

ПАРТIЯ, ПЫТАВШАЯСЯ ПРАВИТЬ

Государственное экономическое совѣщанiе открылось, но столкновенiи личных и групповых, даже в средѣ только что перед тѣм видоизмѣненнаго совѣта министров оно ни ликвидировать, ни уменьшить не могло, тѣм болѣе, что являлось органом сугубо законосовѣщательным, с органиченной компетенцiей по части вмѣшательства в дѣла омскаго государства.

Рядом с совмином, рядом с экономическим совѣщанiем развивала свою дѣятельность партiя народной свободы или, вѣрнѣе, тѣ лица, которые в Омскѣ эту партiю, если не представляли, то от имени ея говорили. Тут сказалась, до извѣстной степени, заразительность большевистскаго примѣра: в Москвѣ правила партiя, должна была так или иначе править партiя и в Омскѣ! Править при диктатурѣ ей не удавалось, но бурлить страстями она могла, тѣм болѣе, что ряд ея видных членов занимал в правительствѣ или около правительства отвѣтственныя мѣста.

Яркiй правый кадет стал министром внутрен-

чих дѣл (В. Н. Пепеляев), другой крайній кадет, адвокат Жардецкій, исполнял роль омской Кассандры, наше Бюро Печати было как-бы гнѣздом активнаго кадетства: директор-распорядитель А. К. Клафтон, член правленія Н. В. Лопухин, управляющій дѣлами А. И Коробов, помощник Клафтона проф. Н. В. Устрялов, директор РТА доцент Сверженскій, главный редактор «Правительственнаго Вѣстника» Кудрявцев—всѣ были кадеты. Мнѣ, не кадету, было по началу как-то даже странно среди них, чувство, должно быть, напоминающее ощущенія совѣтскаго безпартійнаго, когда тот попадает на засѣданіе парт-ячейки. Потому что и при встрѣчах со всѣми и в разговорах с тѣм или иным отдѣльным лицом у нас, в верхах Русскаго Бюро Печати, я все время чувствовал себя в кадетской атмосферѣ.

Но внутри нашего Бюро кадеты были, конечно, гораздо сильнѣе, чѣм в правительствѣ или замкнутом окруженіи Адмирала, хотя самый близкій к Правителю, на ступенях омской іерархіи, проф. Тельберг, главноуправляющій дѣлами, министр юстиціи и генерал-прокурор, тоже числился в рядах кадетской партіи.

В іюнѣ и в іюлѣ кадеты стали проявлять особую активность, потому что им хотѣлось придать правящему аппарату политическую однородность. Премьер Вологодскій, бывшій эс-эр, бывшій областник, «сибирскіе корни», да и вообще человѣк тихій, осторожный, человѣк полу-мѣр, внѣшне сѣренькій, их никак не устраивал.

На пост активнаго премьера они выдвигали В. Н. Пепеляева. Пепеляева в Сибири также хоро-

шо знали, как и Вологодскаго. Член Государственной Думы, едва ли не самый видный из всѣх, удивительно посредственных и бездарных, членов Государственной Думы от Сибири. О нем писали и говорили; в годы войны он сформировал питательный отряд и работал с ним на фронтѣ. Он посылался в Кронштадт в первые дни революціи возстанавливать порядок, имѣл какое-то отношеніе к возстанію Корнилова, был членом московскаго Національнаго Центра, приложил свою руку к сверженію уфимской Директоріи, обнаружил похвальную ретивость на посту директора департамента полиціи, а, сверх всего прочаго, был братом героя-генерала А. Н. Пепеляева.

Хотя и от «сибирских корней», но развернувшійся во всероссійском масштабѣ, Виктор Никокаевич Пепеляев казался его однопартійцем наиболѣе подходящим премьером для того періода омской власти, который должен быть охарактеризован, как «россійскій масштаб» (заимствую термин у Гинса).

Я помню первую встрѣчу мою с Пепеляевым, в январѣ 1919 года, в длинном, темном и склепоподобном корридорѣ зданія не то областного правленія, не то казачьяго управленія,—память теперь измѣняет,—гдѣ помѣщалось министерство внутренних дѣл и департамент полиціи, во главѣ котораго «сознательно стал», послѣ прихода к власти адмирала Колчака, Пепеляев.

Меня поразила его крупная фигура в довольно кургузом, видавшем лучшіе виды, так сказать навѣрное «думском», сюртукѣ, из котораго он не то вырос, не то раздобрѣл до того, что фалды не

могли сходиться. У него был голос, как раз для митинговых выступленій, лицо с мясистыми щеками, бульдожьяго типа, но энергичное.

Рѣдко когда так обманывает наружность—по внѣшности это была воплощенная твердость и воля, но, на самом дѣлѣ, мужеством Пепеляев совсѣм не обладал, возвышался потому, что был карьерист, и умирал так стыдно и нехорошо, что до сих пор, при воспоминаніи о подробностях казни этого несчастнаго человѣка, становится больно и за него и, в особенности, за Адмирала, которому поведеніе Пепеляева перед разстрѣлом, конечно, еще больше отравило, и без того до предѣла горькую, чашу мук Голгофы.

Кромѣ Вологодскаго кадеты почему-то вдруг рѣшили убрать с поста министра иностранных дѣл И. И. Сукина. Подсказал ли им тот-же Пепеляев, что в его будущем кабинетѣ «американской оріентаціи» мѣста быть не может, или кадеты хотѣли видѣть на этом посту «своего человѣка», которым почитался Жуковскій, или мозолила всѣм глаза молодость и заносчивость Сукина, сейчас не помню подробностей. Но Сукину рѣшено было дать бой и ему была подготовлена ловушка.

В Омскѣ собрался съѣзд восточных отдѣлов партіи Народной Свободы и в повѣстку съѣзда включили вопрос о внѣшней политикѣ. Министра иностранных дѣл любезно пригласили выступить на съѣздѣ. Сверх ожиданій, И. И. Сукин предложеніе принял. Это было его первым и его послѣдним политическим выступленіем в Омскѣ внѣ стѣн залы засѣданій Совмина. Когда кадеты или, вѣрнѣе, их коноводы: Устрялов, Жардецкій

и др. узнали, что Сукин будет говорить, их радости не было границ. Они заранѣе предвкушали, как они раздѣлают под орѣх, во время предложенія министру вопросов, его внѣшнюю политику и тѣм предрѣшат его отставку.

Как не кадет, я на конференціи присутствовать не мог, но мнѣ, завѣдывающему иностранным департаментом Р. Б. П. и человѣку, каждый день бывавшему на докладѣ у Сукина, до извѣстной степени увязанному с его политикой, было в высшей степени интересно узнать, чѣм все это кончится.

Конференція не была публичной и о докладѣ Сукина, кромѣ кадет, публика заранѣе не оповѣщалась, но Сверженскій мнѣ проговорился и я, дружа с ним, настоял, чтобы сразу же послѣ доклада Сукина, он пришел в Бюро и разсказал мнѣ, что там было. От волненія я не мог оставаться в своем кабинетѣ и ко времени, когда Сверженскій мог возвратиться, пошел к нему в кабинет и ждал его возвращенія. И вот, как сейчас помню этот момент.

Тут надо еще добавить, что мнѣ были извѣстны и подробности хитро задуманной атаки на И. И. Сукина. Заговорщики нѣсколько раз собирались вмѣстѣ и я предполагал, что в курсѣ их планов были и Жуковскій, мѣтившій на мѣсто Сукина, и Елачич, с которым у меня произошел описанный выше инцидент с телеграммой Ауслендера и который, послѣ этой исторіи, точил зуб на министра.

Были тщательно разработаны и даже записаны вопросы, с которыми Устрялов и другіе должны были обратиться к Сукину тотчас по оконча-

нія его доклада и вопросы эти были составлены один другого каверзнѣе.

И вот, когда мое напряженное ожиданіе возвращенія Сверженскаго с кадетской конференціи достигло своего зенита, вдруг распахивается дверь и бомбой влетает сам Сверженскій, а, за ним, Устрялов, Кудрявцев, Митаревскій, умершій уже в эмиграціи и прославившійся в Китаѣ тѣм, что опубликовал в 1927 году на англійском языкѣ книгу о «Совѣтском заговорѣ» по документам, захваченным жандармами маршала Чжан Цяо-лина в канцеляріи совѣтскаго военнаго агента в Пекинѣ в апрѣлѣ 1927 года.

— Я вам говорил, я вам говорил! — восклицал проворный Сверженскій, в состояніи явнаго возбужденія.

— Нѣт, это невѣроятно, — пѣл в нос, своим московским говорком, восторженный проф. Устрялов—кто мог бы это ожидать? Это блестяще! Это воистину звмѣчательно! ..

—Да в чем дѣло, господа?—спросил я, ничего не понимая и по началу думая, что они съѣли бѣднаго Сукина живьем.

Н. В. Устрялов, захлебываясь от восхищенія (он умѣл, по спортсменски, празнавать высокія качества противника), разсказал, что Сукин, точно он был кѣм-то предупрежден, так построил свой доклад пленуму партіи, по вопросам внѣшней политики, так глубоко и ярко нарисовал создавшуюся политическую конъюктуру, так убѣдительно представил линію, направленіе и уклон своей дипломатіи, что, на всѣ заготовленные заранѣе его врагами самые каверзные вопросы он, не дожидаясь

этих вопросов, дал настолько обоснованный отвѣт, что вмѣсто интерпелляціи, присутствовавшіе устроили молодому министру овацію и, на перебой; пожимали ему послѣ засѣданія руку.

—Вот видите,—сказал я вожакам кадетскаго актива,—я вам все время говорил, что он на рѣдкость одаренный человѣк.

Кромѣ Сукина и Вологодскаго кадеты, в серединѣ лѣта, все время подбирались и к И. А. Михайлову. Он тоже был «сибирскими корнями»; он был вліятелен, он не допускал посторонняго вмѣшательства в дѣла своего вѣдомства, он дружил с Сукиным. Так что, отчасти, побѣда Сукина ослабила поход кадетов и против Михайлова. Впослѣдствіи, однако, Михайлова смѣнил Л. В. фон-Гойер, бывшій наш финансовый агент в Пекинѣ и один из столпов Русско-Азіатскаго банка.

Но кадетская группирока был конечно не единственной в Омскѣ, она была только болѣе вліятельной в окруженіи центра верховной власти.

В Омскѣ существовал и національный центр, с программой неясной и неопредѣленной, но в его рядах находились лица с «серьезной репутаціей», как выразился один талантливый журналист.

Был в Омскѣ и демократическій союз, который по своим политическим устремленіям близко подходил к союзу Возрожденія.

Кстати, демократическій союз тоже все время настаивал на созданіи политически солидарнаго кабинета. Политическая солидарность понималась и этим союзом не в качествѣ отвѣтственности перед тѣм или иным предпарламентом, а перед верховной властью.

Справедливо также отмѣтить, что хотя ка-де очень хотѣли быть в Омскѣ правящей партіей, но таковой они не были, потому что их принципіально всероссійскій масштаб встрѣчал глухое, но стойкое противодѣйствіе со стороны подлинно сибирской общественности.

Осенью возобладала нѣсколько иная тенденція — были получены свѣдѣнія, что в Омск отправились из Европы нѣсколько выдающихся общественно-политических дѣятелей, среди них С. М. Третьяков.

И вот всѣ надежды по улучшенію создавшагося положенія и даже в отношеніи прекращенія свары между мѣстными людьми, были, наивно и трогательно, возложены на пріѣзд этих своеобразных варягов.

Нашла свое осуществленіе старая русская поговорка: «вог пріѣдет барин, барин нас разсудит».

«Барин» пріѣхал, но ничего не разрѣшил, никого толком не разсудил. Но это уже относится к періоду, когда меня в Омскѣ не было.

ОМСКІЯ ИНТЕРВЬЮ

Вот передо мною, среди оберегаемых документов, лежат оригиналы двух интервью, взятых в самом началѣ іюля 1919 года и датированных, оба, четырнадцатым числом, с двумя, в то время самыми вліятельными в Омскѣ людьми, — начальником штаба Верховнаго Главнокомандующаго и военным министром генералом Д. А. Лебедевым и министром финансов И. А. Михайловым. Эти интервью предназначалось для газет Юга Россіи, куда должны были быть отправлены с курьером, слѣдовав-

шим через уральскую степь и Каспій. Были ли эти интервью напечатаны на Югѣ, мнѣ не извѣстно, но в мемуарной литературѣ они появляются впервые.

Читатель, сам теперь хорошо знакомый с истинным положеніем Омска, по тѣм воспоминаніям, которыя мною даны, без труда отличит в обоих этих оффиціальных заявленіях руководителей власти, гдѣ правда, а гдѣ преувеличеніе или замалчиваніе правды.

Во всяком случаѣ, не только от оригиналов этих интервью, написанных на типично омской, уже пожелтѣвшей, бумагѣ, сбитой машинкой, под копирку, но и по тону их и стилю, так волнующе «пахнет» той далекой, отошедшей в исторію эпохой, что мнѣ не хотѣлось ни одного слова к этим интервью добавить, ни выбросить из них чего либо. Это—историческіе документы, сознательно публикуемые мною в том видѣ, как они сохранились.

Начальник штаба Верховнаго Главнокомандующаго ген. Лебедев любезно ознакомил меня с исторіей развитія боевых операцій армій Адмирала А. В. Колчака, начиная с марта мѣсяца и по сей день,—так начинается это первое интервью.

— Когда закончится эта безпримѣрная война и можно будет спокойно оглянуться назад на пройденный тернистый путь,—заявил генерал,— только тогда мы по настоящему оцѣним нашу работу по созданію боеспособной русской арміи и водворенію в странѣ законности и мира.

Ноябрскій омскій переворот явился слѣдствіем почти полнаго разложенія армій Директоріи, обладавшей, в началѣ своего образованія, прекрасными

войсками, с которыми, при надлежащем твердом политическом курсѣ и управленіи можно, было тогда пройти по всей Россіи. Всѣ и армія и общество поняли, что таким путем далѣе итти нельзя и свергли слабовольную Директорію. Верховная власть была вручена Адмиралу Колчаку, к которому тогда, в момент острой опасности и всеобщаго замѣшательства, обратились всѣ взоры с мольбою о спасеніи.

Верховному Правителю досталось необыкновенно тяжелое наслѣдство. Сторонники старой учредиловки, недовольные паденіем Директоріи, начали против нас открытую компанію, призывая войска и общество к явному мятежу против Верховной власти. В таких неблагопріятных условіях мы выдержали всю зимнюю кампанію. В концѣ марта дѣла еще болѣе ухудшились. В это время мы имѣли слѣдующія силы: на Уфимском фронтѣ у нас стояли чехи с небольшим отрядом ген. Каппеля, на лѣвом флангѣ Оренбургскіе и Уральскіе казаки и небольшой отряд башкир.

Чехов и оренбургцев было много, но надежда на них уже была плохая. Учредиловцы совершенно разложили их своей преступной агитаціей и чехи, вдруг, стали массами оставлять фронт и нам приходилось наскоро затыкать внезапно образовавшіяся бреши небольшими, плохо вооруженными, отрядами уральской конницы. Учредиловцы почувствовали себя настолько сильными, что рѣшились даже на открытое выступленіе.

Виктор Чернов, Веденяпин, Вольскій и Бруншвит сорганизовались в Уфѣ, подняли против нас мѣстный гарнизон, захватили радіо-станцію и нача-

ли посылать всему міру протесты и воззванія антиправительственнаго характера. Нам нужно было, во что бы то ни стало, уничтожить это ядовитое гнѣздо, но дѣло усложнилось вмѣшательством чехов, которые, засѣв в Челябинскѣ, не пропускали в Уфу нашу карательную экспедицію. Учредиловцам, помимо того, удалось еше разложить и башкир, находившихся на уфимском фронтѣ. Их командир Валидов — член Учредительнаго собранія, примкнул к бунтовщикам и, не давал нам двинуть против Уфы войска, с фронта. Нам пришлось прибѣгнуть к самым рѣшительным мѣрам. Ночью наш отряд, воспользовавшись нѣкоторой оплошностью чехов, прошел Челябинск, а, затѣм, занял Уфу. Человѣк двадцать учредиловцев были арестованы, но многим главарям, в том числѣ Виктору Чернову, удалось бѣжать и они перебрались в Совдепію. Валидов также был в числѣ спасшихся от ареста. Он бѣжал в Башкирію и там склонил башкир перейти на сторону совѣтской власти. Башкиры открыли фронт южнѣе Уфы и это создало новыя осложненія в общей военной обстановкѣ. В Оренбургѣ учредиловцы пытались свергнуть атамана Дутова и подняли мятеж, в Омскѣ было вооруженное выступленіе большевиков, на Дальнем Востокѣ назрѣвали осложненія с атаманом Семеновым, на почвѣ личных честолюбій мѣстных сепаратистов.

Большевики воспользовались нашими внутренними неурядицами и предприняли энергичное наступленіе, стремясь вбить клин между оренбургцами и уральцами. Пал Оренбург и сдался Уральск. Красные наступали огромными силами и с Юга,

на Троицк, со стороны Орска и Челябинска, и с Востока на Лбищенск, а затѣм вниз по Уралу. Маленькое уральское войско изнемогало в неравной борьбѣ. Красные насѣдали на него все сильнѣе и упорнѣе, грозя сбросить уральцев в море. С Дона также приходили к нам неутѣшительныя вѣсти. Мы видѣли, что красные вновь приближаются к Ростову и Новочеркасску и опасались повторенія калединской трагедіи.

На Сѣверѣ положеніе также рисовалось отчаянным. Американская пресса кричала о необходимости отозванія союзных войск из Россіи. В тылу, как зловѣщія зарницы перед грозой, вспыхивали волненія и большевисткія возстанія.

Но хуже всего, что союзники заговорили, вдруг, о необходимости образованія контакта с большевиками и на политическом горизонтѣ показались вдруг, из тумана союзнической дипломатіи, зловѣщія: «Принцевы острова», как синоним новаго позора Россіи.

Чтобы разом повернуть всю обстановку в лучшую сторону, нужны были исключительно героическія мѣры. И Верховный Правитель на них рѣшился.

Да и вообще медлить было нельзя! Красные сосредоточили в низовьях Волги огромные запасы хлѣба и хлопка, чтобы, с открытіем навигаціи, доставить его в голодную Совдепію и возродить замершія фабрики. Это при успѣхѣ дало бы им силы для новой зимней компаніи. Красные не считали, очевидно, уже нас способными к активным дѣйствіям и ослабили напряженіе. Пользуясь этим, мы сосредоточили ударную группу восточнѣе Бир-

ска именно там, гдѣ красные менѣе всего могли ожидать нашего появленія. Успѣх этой операціи зависѣл исключительно от быстроты переброски войск. Мы посадили пѣхоту на подводы и перебросили ее по трудной горной дорогѣ вглубь района на 150 верст почти в теченіи одних суток.

Мы взяли для удара бирское направленіе и, заняв Бирск, стремительно вышли в тыл челябинской группѣ красных, захватив ст. Чешму. Результаты наступленія превзошли наши ожиданія.

Всѣ коммуникаціонные пути красных на самарском направленіи были теперь в наших руках. Совѣтскія войска бѣжали, охваченные паникой, на Юг, бросая все, что только имѣли на нашем фронтѣ.

Мы взяли Уфу, Елабугу, Бугульму и подошли почти вплотную к Волгѣ. Положеніе правительства тотчас укрѣпилось. Наши побѣдоносныя войска встрѣчались населеніем с энтузіазмом. Союзники тотчас перемѣнили фронт и громко заговорили о близком признаніи нашего правительства. Чтобы остановить бѣгущій фронт, красные сняли с уральскаго района одну дивизію, но это дало возможность уральцам воспрянуть с силами и они, перейдя в свою очередь в наступленіе, погнали большевисткія банды с родных, заповѣдных степей.

Военное счастье явно склонялось в нашу сторону. Красные потеряли Калмыков, потом Лбищенск, затѣм казаки окружили Уральск и заперли там сильную группу совѣтских войск. Оренбургцы также начали успѣшно наступать и вскорѣ связались с уральцами.

Красные забили тревогу. Ими тогда овладѣло

такое-же смятеніе и растерянность, как нынѣ, в дни грандіозной побѣды на фронтѣ генерала Деникина.

Они начали стягивать на наш фронт все, что могли и откуда могли. С Юга, с Украины, с Сѣвера и с центра Россіи на Волгу были двинуты безпрерывные эшелоны красных войск. В теченіи двух недѣль красные успѣли сосредоточить против нашей Западной арміи до 50 тысяч свѣжих войск и почти столько же против Сибирской арміи.

Продвигаться вперед с нашими незначительными силами становилось труднѣе, но несмотря на первую неудачу под Бугурусланом, мы все таки рѣшили двигаться далѣе, чтобы овладѣть, наконец, Волгой.

Я лично увѣрен, что мы достигли бы успѣха, если бы не послѣдовавшія вскорѣ, друг за другом, двѣ неожиданныя неудачи, совершенно разстроившія наши разсчеты и планы.

Первая из них произошла под Оренбургом и дала возможность красным базироваться на линіи Оренбург-Самара,—вторая на Самарском фронтѣ и в тот самый момент, когда побѣда была уже в наших руках.

Началось с того, что очень надежная рабочая дивизія, считая, что их дѣло с освобожденіем Ижевскаго и Воткинскаго заводов от большевиков вполнѣ закончено, бросили фронт и разошлись по домам, а затѣм украинская дивизія, стоявшая в ближайшем резервѣ под Самарой, вдруг, нам измѣнила и, вмѣсто выступленія на подмогу 11 дивизіи, штурмовавшей послѣднія укрѣпленія красных, открывающія путь к Волгѣ, ударила ей в тыл.

Не имѣя болѣе резервов, мы принуждены были остановиться, а, затѣм, начать отступленіе.

Не смотря на полное численное превосходство противника, наш отход совершается в абсолютном порядкѣ. Мы успѣваем вполнѣ эвакуировать свой тыл, не оставляя в руках красных значительной военной добычи.

Теперь наши войска отступают только по приказанію командованія и в любой момент, когда это будет продиктовано стратегическими соображеніями, они станут и перейдут в контр-наступленіе.

***

Министр финансов И. А. Михайлов сообщил слѣдующія данныя о состояніи и развитіи правительственнаго бюджета.

—В настоящее время мы,—заявил министр,—стремимся к возстановленію единой финансовой территоріи во всѣх областях Россіи, освобожденных силою оружія от большевисткаго ига.

В Восточной Россіи, почти во всей Сибири, в этом отношеніи мы уже добились вполнѣ благопріятных результатов: наши денежные знаки обращаются повсемѣстно, на всем необозримом пространствѣ, от берегов Тихаго океана и до устья Урала.

Исторію развитія нашей финансовой системы необходимо раздѣлить на два періода:—первый, с момента образованія Директоріи и второй, послѣ ноябрьскаго переворота, когда было образовано правительство Адмирала Колчака. Финансовая территорія Директоріи не простиралась далѣе средней Сибири; Дальній Восток, Урал и Поволжье

жили обособленной жизнью и имѣли свои собственные денежные знаки и только, уже послѣ созданія новой, подлинно всероссійской власти, нам удалось объединить эти области.

Первоначально цифра расходов колебалась от ста сорока до ста семидесяти четырех милліонов рублей в мѣсяц, но, затѣм, с конца ноября, стала возрастать, достигнув к маю текущаго года одного милліарда рублей в мѣсяц.

На ряду с расходами возросли и доходы. Так, в іюлѣ прошлаго года, сумма дохода достигала едва 12 милліонов рублей в мѣсяц, к ноябрю она сразу утроилась. В декабрѣ мы уже имѣли приходу 65 милліонов, в январѣ—90 милліонов руб. и, наконец, в маѣ мѣсячный приход выражался в 150 милліонах руб.

Вся тяжесть нашего расходнаго баланса ложится, конечно, на военныя издержки, достигающія солидной цифры—700 милліонов в мѣсяц.

Покрывать дефицит нам приходится выпуском бумажных денег и кредитными операціями. В настоящее время у нас находится в обращеніи денежных знаков, выпущенных Омским государственным банком, почти на четыре милліарда рублей, из которых 500 милліонов пошло на погашеніе всевозможных мѣстных денег и бон и один милліард в обмѣн на аннулированныя «керенки».

Наши доходы составляют: выручка от желѣзных дор., составлявшая в послѣднем отчетном мѣсяцѣ (в маѣ)—40 милліонов р.; продажа казеннаго спирта и водки—55 милліонов р.; таможенныя пошлины—20 мил. р.; прямые налоги—21 мил. р. и, наконец, — косвенное обложеніе товаров — 15-ть

мил. рублей.

В іюнѣ и в іюлѣ цифра доходов, вѣроятно, достигнет 200 милліонов рублей; тогда как увеличенія расходов пока не предвидится.

Большія надежды мы возлагаем на предстоящій обильный урожай и поступленіе прямых и косвенных налогов. По мѣрѣ внесенія в страну успокоенія, приток налогов быстро возрастает. Для наглядности приведу вам слѣдующія краснорѣчивыя цифры.

В іюлѣ прошлаго года прямых налогов поступило всего 925 т. р., в декабрѣ уже 11 милліонов, а в маѣ с. г., как я указывал, выше 21-го мил. р. Точно такая же градація наблюдалась и по другим статьям. Так, продажа спирта дала нам в августѣ 18 года всего полтора милліона р., в декабрѣ—22 м. р. и в маѣ—50 м. р; желѣзнодорожный сбор дал в январѣ— 27 м. р., в февралѣ— 31 м. р., в мартѣ—33 м. р., в апрѣлѣ и в маѣ—по 40 мил. р. и т. д.

Кромѣ обычных поступленій, во второй половинѣ текущаго бюджетнаго года мы предполагаем получить огромныя поступленія от нѣкоторых торгово-финансовых операцій. Нам удалось, например, закупить по очень недорогой цѣнѣ около трех милліонов пудов сахару на Явѣ. Сахар этот мы продаем населенію по 6 р. фунт, что вчетверо ниже нынѣшней рыночной стоимости. Точно такія же закупки сдѣланы нами чая и др. предметов первой необходимости.

Считаю необходимым отмѣтить,— продолжал И. А. Михайлов,—что с каждым днем в населеніи все болѣе и болѣе возвращается вѣра в наши кре-

дитныя учрежденія, что выражается в увеличеніи притока денежных вкладов.

На этом интервью обрывается. Окончаніе его утеряно.

ПРОФ. БОЛДЫРЕВ.

В Омскѣ, в колчаковскій період, было не мало людей в высшей степени интересных и содержательных, которые впослѣдствіи играли большую роль даже в міровой политикѣ или прославили себя на путях служенія наукѣ.

Граф Дамьен де Мартель, высокій комиссар Франціи, впослѣдствіи отправленный в Крым к генералу Врангелю и осуществившій в августѣ 1920 года признаніе этого правительства de facto, потом посланник в Китаѣ, посол в Японіи и высокій комиссар Сиріи.

Ген. Альфред Нокс, высокій, подтянутый, как то по особому, по военному элегантный, нынѣ сэр Альфред Нокс, многолѣтній член парламента и спеціалист по интерпелляціям правительству, когда дебаты касаются Востока.

Сэр Чарльз Элліот, дипломат ученый, впослѣдствіи посол Великобританіи в Токіо, человѣк обратившій на себя вниманіе работами еще на студенческой скамьѣ, изслѣдователь буддизма, изучившій до двадцати языков в том числѣ русскій, финскій, пали, китайскій, свахили, японскій и т. д. Он был атташэ британскаго посольства в Санк-Петербургѣ, был повѣренным в дѣлах в Танжерѣ, вторым секретарем в Вашингтонѣ, генеральным консулом в Занзибарѣ и вице-канцлером Гонгонскаго университета.

Были знаменитости и сомнительной репутаціи, напримѣр, в свое время гремѣвшій, генерал Гайда, которому только случай помѣшал стать чешским Гитлером или памятный по корниловскому дѣлу Завойко, омскій граф Каліостро, вмѣстѣ с которым вспоминается В. Н. Львов, чуть не ежедневный посѣтитель моего служебнаго кабинета, требовавшій, чтобы правительство отправило его со специальной миссіей в Америку, бывшій обер-прокурор Святѣйшаго Синода, в настоящее время как будто один из наиболѣе рьяных душителей Православеой Церкви в СССР.

Но среди всѣх этих людей большой карьеры в прошлом, в настоящем или будущем, иностранцев и русских, военных и штатских особняком стоит в моей памяти свѣтлый и мученическій образ молодого профессора Дмитрія Васильевича Болдырева, который весною 1919 года прибыл к нам в Бюро Печати из Перми.

Еще до пріѣзда Болдырева Н. В. Устрялов, сам большой стилист, пѣл мнѣ восторженно дифирамбы публицистическим талантам Дмитрія Васильевича. И вот он прибыл. Высокій, нѣсколько худой, совсѣм еще молодой, говорившій убѣдительно и просто, с лицом не из тѣх, про которые можно сказать, что они красивы, но с незабываемым лицом человѣка мысли и высоких, возвышенных чувств. Теперь так и хочется сказать «с лицом Саванаролы», хотя это было бы претенціозно и не совсѣм вѣрно и точно, потому что как человѣк, в личной жизни, Дмитрій Васильевич был добр и мог быть нѣжен, как Франциск Асизскій, но на общественном и жертвенном служеніи, на путях

дѣйственнаго патріотизма он не знал компромиссов, был не только трибуном, но был гнѣвным рыцарем: «огненная душа», как мѣтко опредѣлил его Вс. Н. Иванов.

Болдырев во всю развернулся в Омскѣ уже тогда, когда меня не было, когда я уѣхал к атаману Калмыкову, в Хабаровск, и когда «проф. Болдырев, посвященный в стихарь, выступил всенародно на площади с проповѣдью с паперти Омскаго собора» (цитирую по статьѣ В. Н. Иванова).

При мнѣ же он был еще совсѣм новичком в Омскѣ, оглядывался и присматривался и было что-то дѣтски трогательное в той радости, с какой он воспринимал возвращеніе от скудности жизни в выхолощенной большевиками Перми к омскому непритязательному обывательскому благополучію.

Как не требователен сам он был в личной жизни показывает такой маленькій случай: чуть не в первый же день нашего знакомства, он зашел ко мнѣ на дом, попросить одно лезвіе для бритвы «жилетт». Бритва у него была, а лезвій давно уже не было.

Тут мы с ним и разговорились— это был замѣчательный человѣк, замѣчательный во всѣх отношеніях. Я только что прочитал его статью о кинематографѣ. Он был первым в литературѣ, во всяком случаѣ у нас в Россіи, а, с точки зрѣнія философски-исторической, может быть и первым в мірѣ, который, еще по веснѣ 1919 года, осознал и доказал вліяніе кинематографа, не краснаго, агитаціоннаго, а стараго буржуазнаго кинематографа на революціонизированіе масс. Написана статья была мастерски. Ее можно было читать и перечи-

тывать. Но, в отвѣт на мои восторги, Дмитрій Васильевич спросил:

—А правда ли, что у вас в Омскѣ десять тысяч офицеров и никак их нельзя заставить и убѣдить итти на фронт, гдѣ офицеров не хватает?

Я сказал, что точной цифры не знаю, но что уклоняющихся много и что у каждаго почти министра имѣется молодой офицер «для особых порученій». Уже тогда у Дмитрія Васильевича бродила мысль бросить в массу такую идею, которая могла бы зажечь пламя народнаго порыва.

Если бы не война, не революція он развернулся бы в большого писателя и ученаго философа. Оригинально, что это утвержденіе принадлежит журналу, выпущенному в Совѣтской Россіи через два года послѣ гибели Д. В. Болдырева. В журналѣ петербургскаго Философскаго Общества, выходившем в 1922 году под редакціей Э. Л. Радлова и Н. О. Лосскаго мы находим статью Лосскаго, который говорит: «трудно освоиться с мыслью, что умер Д. В. Болдырев, молодой, талантливый, обѣщавшій стать ярким выраженіем русскаго національнаго генія Кто близко знал его, тому трудно говорить о нем: так ясно чувствуешь, что словами нельзя передать своеобразное ядро его личности, всегда цѣльно отражавшееся в его чувствах, поступках, философских твореніях, в его беллетристических набросках и во всяком его отвѣтѣ на любимыя проявленія жизни, которыя он умѣл описывать с художественным мастерством и милым юмором» (не надо забывать, кстати, что эти строки писались под совѣтским ярмом, о человѣкѣ, который вплотную связал себя с тѣм, что в Рос-

сіи тѣх времен называлось «колчаковщиной»).

Н. О. Лосскій продолжает: «коснусь только его таланта, как он выразился в его философских и публицистических статьях. Стоит только прочитать его «Огненную Купель» (1915 год) или его статьи о церкви и духовенствѣ, напечатанныя в журналах «Русская Мысль» (1917 г.) и «Русская свобода» (1917) и всякому станет ясно, что в нем была первозданная оригинальность, творческая душа в том, еще неослабленном видѣ, в каком она выходит из рук величайшаго Творца, Господа Бога. Умѣніе видѣть вещи по новому, не так, как их видят другіе люди, и выразить свое видѣніе ярким словом принадлежало ему в высшей степени. Пояснить эту форму оригинальности я могу лишь сравненіем с лицом всѣм извѣстным,—с В. В. Розановым,—с тѣм, однако, высоким отличіем, что в мышленіи и характерѣ Дмитрія Васильевича не было ничего патологическаго, все дышало здоровьем и привлекало безупречною чистотою; к тому же мысль его, при художественности выраженія, развивалась тѣм не менѣе строго послѣдовательно.

Если бы ему суждено было пожить еще на землѣ, он, вѣроятно, создал бы особый вид литературных произведеній, сочетающих в себѣ задачи искусства с задачами философіи. Недаром, приступая к обоснованію своего философскаго міровоззрѣнія, он поставил в центр его ученіе о фантазіи, утверждающее, что фантазія не есть чисто субъективная дѣятельность, что она есть способность проникать в сферу объективнаго бытія,однако бытія иного типа, чѣм окружающая нас среда, несоизмѣ-

римаго с нею. Взгляды эти могли бы дать пышный плод в философіи религіи, особенно в философіи мифологіи, и послужить для оправданія конкретных сторон религіи, столь цѣнимых православным религіозным сознаніем.

Общеніе Дмитрія Васильевича с сверхчувственным міром придавало необыкновенную мощь его религіозным идеям и чувствам. Стоя у постели любимаго отца в момент неотвратимо приближавшейся смерти, он читал над ним молитву с такою силою и спокойствіем, какіе может дать лишь вѣра в Царствіе Небесное, достигшая степени видѣнія и постиженія, высшаго, чѣм то, какое получается из знанія вещей, наблюдаемых чувственным оком. За нѣсколько минут до своей смерти Д. В. молился: «Пресвятая Богородица, спаси меня, я не хочу умирать. Я так молод еще, у меня жена и маленькій ребенок, и неоконченный философскій труд; когда я окончу его, тогда скажу: Нынѣ отпущаеши раба Твоего, Владыко, и я умру с миром».

Труд его остался неоконченным говорит проф. Лосскій,— но повидимому многое существенное в нем уже сказано. Будем надѣятся, что рукопись сохранилась».

Сохранилась ли? В брошюрѣ, которую Всеволод Иванов, один из друзей Д. В. Болдырева, опубликовал во Владивостокѣ в 1921 году, «Огненная Душа» он писал:

«Год тому назад в маѣ мѣсяцѣ в Иркутской тюремной больницѣ умер от послѣдствій сыпного тифа, весь в язвах и ранах, молодой профессор Пермскаго Государственнаго Университета, по кафедрѣ философіи, Д. В. Болдырев. Умер, не до-

ждавшить над собою суда Омскаго революціоннаго трибунала, которым был приговорен к смерти и разстрѣлян его друг и соратник по омскому Русскому Бюро Печати А. К. Клафтон.

И далѣе Всеволод Иванов вспоминал: «Омск осенью 1919 года уже трепещет от близкой катастрофы. Фальшивой стала казаться толпа иностранцев, лихим потоком, в упоеніи побѣды над нѣмцами, лившаяся в Сибирь, словно в увеселительную поѣздку от агентства Кука. Безпомощны теоретическія «коалиціи» политических импотентов. Безпочвенны, безжертвенны, неоправданы всѣ рѣчи, стерты, как старая монета, всѣ и устныя и печатныя слова об «несчастной нашей родинѣ». Надо было что то элементарно простое, что-то библейски сильное, свѣжее, как вода:

«В день Преображенія Господня, в Патріаршій день, проф. Болдырев, посвященный в стихарь, выступил всенародно на площади с проповѣдью с паперти Омскаго собора.

«Зло надвигается,—говорил он,—красный, безбожный, отвергающій религію коммунизм идет на Сибирь. Этой дьявольской силѣ должна быть противопоставлена сила Св. Креста. Вѣра мертва без дѣл; она требует от христіанина взять в руки винтовку».

Так началось крестоносное движеніе, нашедшее доступ к массам, хотя и исходило само от интеллигенціи. Начались мобилизаціонныя горячія собранія бѣженцев, систематическая проповѣдь в Алтайском, Барнаульском, Бійском, Новониколаевском уѣздах. Поднимались бѣженцы, поднималось староорядчество, мусульманство и отклики истин-

ной проповѣди этой еще живут в тѣх районах. Появились на фронтах бѣшено дравшіяся дружины Св. Креста и Зеленаго Знамени Пророка, и все это было сдѣлано рѣшительностью и пылом горячаго профессора и младшаго унтер-офицера Д. В. Болдырева.

Добавить к этой удачной характеристикѣ В. Н. Ивановым образа своего друга я ничего не хочу. Я хочу только еще раз напомнить о том профессорѣ-героѣ русской идеи, каким был Д. В. Болдырев и хочу крѣпко вѣрить, что всѣ его писанія будут тщательно изучены и полным собраніем изданы с соотвѣтствующими комментаріями к событіям эпохи не только для того, чтобы тѣм самым поставить нерукотворный памятник молодому русскому мыслителю и дѣятелю, но и для того, чтобы знакомить будущія поколѣнія с источником животворящей національной идеи.

ЛЕМБИЧ В ОМСКѢ

Этот фантаст информаціи, газетный человѣк по рожденію, не знавшій и не желавшій знать никакой другой профессіи, кромѣ профессіи журналиста, человѣк, изучившій досканально тактику и стратегію газетнаго дѣла, вѣдавшій медіумически цѣну газетной поддержки и умѣвшій показать и доказать смысл и значеніе свободнаго слова, был к себѣ и в отношеніи себя скромен.

Он раз только писал о себѣ или, вѣрнѣе, его просили написать о себѣ, в день десятилѣтія харбинской «Зари», но он сѣл и написал даже не о своей газетѣ, а о газетном служеніи вообще.

* * *

В Москвѣ, на югѣ Россіи, больше знали Лембича—человѣка. Он был всегда там, гдѣ развертывались большія событія.

В Сибири, в Омскѣ, а потом и на Дальнем Востокѣ Лембич—человѣк был заслонен Лембичем—редактором и далѣе издателем.

Но мнѣ довелось увидѣть Лембича в Сибири до тѣх пор пока он стал редактировать, сразу большую и зашумѣвшую, газету «Русь».

Когда в іюнѣ мѣсяцѣ 1919 года М. С. Лембич прибыл в Омск от Деникина, то об этом сразу заговорили: в газетном мірѣ, среди обывателей, в особенности среди военных и даже в самом правительствѣ.

Не только потому, что прибыл представитель Кубанскаго войска, посланец главнокомандующаго вооруженными силами Юга Россіи, журналист, представлявшій чуть не с пол-дюжины газет на югѣ Россіи, не только потому, что этот человѣк пробрался через фронт красных, ѣхал не тѣм путем, каким ѣхали обычно сановники бѣлых фронтов: от Марсели на Владивосток и оттуда в Омск, а каспійскими степями через область Уральскаго войска, но главным образом потому, что это был «М. Лембич», котораго по «Русскому Слову» читала в годы войны и знала вся Россія.

М. С. Лембича адмирал Колчак принял без промедленія и они долго, очень долго бесѣдовали с глазу на глаз, несмотря на то, что Верховный Правитель был обычно очень занят, время его было расписано по минутам и даже министры старались до минимума сокращать свое пребываніе у него на докладах.

Впрочем, неудивительно, что в разговорѣ с М. С. Лембичем адмирал Колчак забыл обо всѣх своих обязательствах и нарушил расписаніе дня— Лембич был такой необычайно увлекательный разсказчик, а тут было о чем поговорить.

Кто другой, как не этот журналист с цѣпким глазом, все знавшій, все угадывавшій, мог нарисовать в ярких образах ход борьбы с общим врагом на Югѣ, работу ген. Деникина, его сложныя взаимоотношенія с атаманом Красновым, роль ген. Драгомирова, положеніе фронтов, настроенія тыла, поведеніе представителей Антанты, борьбу политических страстей в тылу, отношеніе народных масс к Добровольческой Арміи и т. д.

Послѣ пріема у адмирала Колчака, Лембич стал в Омскѣ центром общаго вниманія: но он не почил на лаврах пріѣхавшей знаменитости.

Когда состоялась его встрѣча с тѣми, в чьих руках были матеріальныя средства, а эти люди сами искали с ним скорѣйшей встрѣчи, он немедленно согласился приступить к созданію большой, независимой, общественной газеты.

Под Лембича деньги на такую газету сразу дали ряд кооперативных объединеній и особенно ратовал кооператор Дьяконов за то, чтобы Лембичу ни в чем не было отказа. Отвалили они ему сразу, на расходы по организаціи большой газеты, пять милліонов сибирских рублей.

Хотя эти рубли были и сибирскіе, но в іюнѣ мѣсяцѣ 1919 г. это была и на валюту огромная сумма денег.

Тут необходимо подчеркнуть, кстати, что М. С. Лембич с его именем, с его опытом и с его энер-

гіей мог конечно занять любое мѣсто в органах правительственной информаціи или в Русском Бюро Печати, которое только что тогда было сформировано, как акціонерное предпріятіе, тоже совершенно не стѣснявшееся в средствах: но Лембич и служба правительственнаго порядка были понятія несовмѣстимыя.

Он пріѣхал ко мнѣ с готовым предложеніем: предложил занять—не сомнѣваясь в согласіи, пост редактора иностраннаго отдѣла. Я ему отвѣтил, что очень польщен предложеніем, но принять его не могу, так как состою одним из директоров Р. Б. П., занят с утра до ночи, свободнаго времени абсолютно не имѣю и, кромѣ всего прочаго, считаю неудобным совмѣщать полуправительственную службу с работой в частном издательствѣ.

—Во первых,—возразил М. С Лембич,—в гражданской войнѣ не может быть раздѣлѣнія на предпріятія частныя или не частныя: враг у нас общій, придут большевики и в одинаковой степени реквизируют как частные, так и не частные капиталы. Во вторых, мнѣ вашего времени не надо. В ваших руках сосредоточена вся информація с за-границей, вот что я хочу: доступ к ней, но через вас, легально, а не контрабандой. Вам достаточно раз, два раза в недѣлю когда у вас будет какая нибудь дѣйствительно настоящая сенсація мнѣ ее протелефонировать. Вот и все. Я выпишу вам сейчас аванс в тысячу рублей. Довольно? — и он полѣз в боковой карман, за чековой книжкой.

— Но позвольте, — возражал я, — я не имѣю права принимать авансы.

— Что вы говорите? А министр финансов имѣет

право? — спросил меня, М. С. Лембич и тут же разсказал, со своей совершенно обезкураживающей откровенность, что он только что был у И. А. Михайлова, который дал свое согласіе сотрудничать и которому он тоже предложил аванс.

— Начинать на широкую ногу газетное предпріятіе без авансов не полагается.

— Если минфин может у вас работать, то я и подавно,—сказал я.

—Конечно! Я вовсе не собираюсь дѣлать из этого секрета. Если меня Адмирал спросит, я ему скажу. Не стоит открывать такую газету, которая не забьет всѣ остальныя. А пути у нас общіе—я пріѣхал от Деникина, чтобы служить Колчаку. В нашу газету я хочу привлечь всѣх, кто нам нужен, чтобы это была лучшая газета на территоріи Омскаго правительства. Я доказывал Адмиралу, что он должен обѣщать мнѣ наперед защиту от всяких цензоров. Я сам знаю, что надо печатать и что не надо, что вредно для дѣла борьбы с большевиками и что, наоборот, полезно. Когда в информаціонную работу вмѣшиваются генералы, или когда полицейскій цензор старается в нашем дѣлѣ наводить порядки, страдает не только газета, но вся та борьба, для которой мы здѣсь находимся. Адмирал обѣщал, сказал, что он мнѣ вѣрит и отдаст соотвѣтствующее распоряженіе. Работа всяческих освагов или как они тут у вас называются — бюро печати, освѣдверхи, осканверхи это одно, а голос частной, независимой, большой, вліятельной газеты совсѣм другое. Читатель, — он вас слушает, а за провѣркой придет к нам. А раз мы всѣ идем в ногу, при чем тут цензура? Цензура должна слѣ-

дить за тѣми, кто в оппозиціи, кто занимается провокаціей, кого можно спровоцировать!

Так началась наша совмѣстная работа с М. С. Лембичем.

Потом состоялось первое собраніе всѣх приглашенных сотрудников в газетѣ. Оно было непродолжительным Лембич. в присутствіи всѣх, указал на каждаго в отдѣльнсти, кто, что в газетѣ будет дѣлать. Обіцее руководство оставил за собой.

Послѣ выхода перваго номера, в домѣ Дьяконова был обильный ужин, но Лембич пришел, когда мы всѣ были уже за жарким и ушел обратно в редакцію прежде чѣм было подано сладкое.

Дома его никогда не было, за исключеніем тѣх случаев, когда он кому нибудь назначал на дому свиданіе: так, у него на дому, в маленькой комнатѣ я с ним разговаривал наканунѣ отъѣзда из Омска, когда он выдал мнѣ корреспондентскій билет и аванс.

Газета «Русь» помѣщалась в огромном, мрачном помѣщеніи, как манеж. Рядом была громадная типографія, потом склад желтой бумаги. Лембич сидѣл в этом манежѣ вмѣстѣ со всѣми. Стол его был завален грудами бумаг. Газета под его руководством сразу пошла с огромным успѣхом.

Когда настал роковой день оставленія Омска, М. С. Лембич каким-то чудом, в самую послѣднюю минуту, уже в закрытом для операцій банкѣ, достал потребную сумму денег и сам выплатил всѣм сотрудникам и служащим газеты не только то, что каждому причиталось к полученію, но и заштатные, за два мѣсяца вперед.

Газета «Русь» выходила в Омскѣ до самаго по-

слѣдняго дня существованія бѣлой власти, Лембич покинул Омск с одним из самых послѣдних составов. В Новониколаевскѣ он задержался, участвовал в совѣщаніи в вагонѣ Верховнаго Правителя, имѣл острое столкновеніе с ген. Сахаровым, которое могло стоить ему жизни и в дальнѣйшем отступал вмѣстѣ с чехами, имѣя при себѣ какой-то документ, лично от проф. Массарика, с которым прежде встрѣчался.

ОМСКІЙ ПАРНАС

Державный Омск не только выдерживал натиск красной бури, не только готовил поход на Москву и добивался от держав признанія законным правительством Россіи, не только кипѣл в котлѣ политических интриг, но находил и людей и время для занятія поэзіей или, вѣрнѣе, отдыха в поэзіи от страшнаго напряженія нервов, неизбѣжнаго, когда ведется братоубійственная война.

Собирались в Омскѣ поэты и писатели зимою 1918-19 г. г. гдѣ-то на Госфортовском переулкѣ, в одной из канцелярій, в комнатѣ хотя и просторной, но очень неуютной.

Всѣ были скромно, болѣе чѣм скромно, одѣты—неизбѣжный френч гражданской войны, одинаковый по сю и по ту сторону фронта, галиффэ или даже просто обыкновенные брюки и сапоги, на плечах многих поэтов погоны, офицерскія или вольноопредѣляющихся.

Многіе имена стерлись уже в моей памяти, но, вот, помню ярче всѣх на этих собраніях подлиннаго поэта Георгія Маслова, писателя из столиц Сергѣя Ауслендера, в прошлом друга Михаила

Кузмина, помню Буткевича, Н. Н. Каменскаго, какого то мѣстнаго омскаго смѣшного поэта, чуточку тронувшагося в напряженном желаніи обратить на себя вниманіе, Сорокина, имени его не помню, кажется Антон, далѣе, должен быть включен в этот перечень Саша Бенедиктов, поэт из Москвы и Томска, купеческій сын, очень внѣшне привлекательный, который занимал, если хотите, «пост» офицера для порученій при предсѣдателѣ совѣта министров, потом Левушка Тихомиров, сын попечителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа, который сочинил обо мнѣ еще в университетѣ очаровательный тріолет, юный артиллерійскій прапорщик Николай Безсонов, так быстро и дико погибшій — ему, на екатеринбургском фронтѣ, оторвало снарядом голову, Михаил Барахович, уже с признаніем, студент московскаго Коммерческаго Института, разстрѣлянный в концѣ 1919 года большевиками, Владимір Королев, именовавшійся Королевич, один из свиты знаменитаго тогда экраннаго актера В. В. Максимова, жеманный и манерный, с которым мы когда то, в первом классѣ гимназіи, сидѣли на одной партѣ, а отцы наши служили по одному вѣдомству. Были и поэтессы, кажется, Надя Камова из Иркутска и Лидія Азадовская.

Когда пріѣхали культурники из Перми: Вс. Иванов, Н. В. Устрялов, проф. Д. В. Болдырев, доцент Л. А. Зандер, поэт Леонид Тяжелов, развернувшійся впослѣдствіи в бѣлом Владивостокѣ, подошло лѣто 19-го года, потом началось великое отступленіе от Камы, с Урала и дальше за Тобол, даже и поэтам стало не до литературных собра-

ній.

Бывали на этих собраніях и журналисты: из них прежде всего вспоминаю Г.Н. Шипкова, блестящаго полемиста, потом, уже в Харбинѣ, создавшаго, вмѣстѣ с Лембичем, «Зарю».

Как сейчас помню Сергѣя Ауслендера, худого, изможденнаго, как то сбитаго с толку революціей, потерявшаго себя, чуть горбившагося, державшаго папиросу в длинных пальцах, похожих на пальцы наркомана, с его болѣзненной и ласковой улыбкой, тихой поступью, тихим голосом, человѣка, который понял, что он все потерял, что имѣл и потерял навсегда и проходившаго сквозь строй страшной эпохи блѣдной тѣнью. Он, как я выше цитировал, написал об Адмиралѣ Колчакѣ замѣчательную брошюру, весь пафос и искренность которой будут оцѣнены даже нашими врагами, когда отгремят и отойдут на страницы исторіи грозы, дѣлящія нас, русских, и по сей день на два несліянных міра.

В тѣ времена еще живы были там, в Россіи, и Александр Блок и Гумилев, мы читали, и до изступленія спорили, о «Двѣнадцати», кажется тогда впервые я услышал «Двѣнадцать» в непередаваемо выразительном чтеніи безсмысленно сгорѣвшаго в Харбинѣ поэта Леонида Ещина.

Но, все таки, самым талантливым среди нас был Георгій Маслов: душа этого юнаго поэта, почти мальчика, который молод был даже для своей студенческой тужурки поверх защитных галиффэ, отошла в небытіе в страдные дни отступленія от Омска.

Маслов скончался в Красноярскѣ, от сыпного

тифа. Звѣзда его таланта и года не горѣла на небосклонѣ омскаго Парнаса, но он успѣл все таки напечатать поэму «Аврора», его стихи печатались в лучших омских газетах и потом долго, нѣсколько лѣт, перепечатывались, послѣ великаго отступленія, в газетах Харбина и Владивостока.

Прирожденный мастер стиха, нѣжно и трепетно влюбленный в тридцатые годы прошлаго вѣка, он был бы украшеніем всероссійскаго литературнаго Пантеона, если бы не кровавая революція, не знавшій пощады сыпняк.

Парнасец и пластик, Георгій Маслов вдохновенно собирал мед с цвѣтов русской поэзіи. Юноша, с едва пробивающимся пухом на верхней губѣ, он был уже не «начинающим» и «подающим надежды», а законченным мастером. Академичный, по тютчевски скупой в словах, безпощадный к себѣ сектант строгой формы, он умѣл быть по настоящему нѣжным, как Ахматова, и, в то же время, пребывал в своем творчествѣ напряженным, натянутым, как тугая тетива стихійной музы Александра Блока.

О поэмѣ Георгія Маслова нѣсколько лѣт назад подробно и хорошо писал Вс. Иванов.

Из мелких стихотвореній у меня на памяти сейчас одно, датированное 1 августа 1919 г. в Омскѣ.

Сердце—горячая, алая рана,
А я думал—оно мертво.
Злая стрѣла золотого колчана
Лукаво пронзила его.

Сѣраго мѣха вашей ротонды
И маленьких пальцев, неслышнаго: «да»
И вашей улыбки, как у Джоконды
Мнѣ не забыть никогда.

Мнѣ хочется жизни—безцѣльной и шумной,
Без грез и усталаго сна,
Мнѣ хочется пѣть, как Языков безумный,
О чарах любви и вина.

Забыть достиженья, паденія, ошибки,
Летѣть в темноту и горѣть,
И в жгучих лучах этой грѣшной улыбки,
На миг засіяв, умереть.

Послѣднее желаніе поэта исполнила жестокая его Судьба: он летѣл в темноту и горѣл. Засіяв на миг—он умер. Бѣдный поэт, скорбная омская муза.

Даже в хоровых солдатских пѣснях она была разяще печальна. Кто из тѣх, кто боролся в бѣлом станѣ, не знает слов Сибирскаго марша:

Вспоили вы нас и вскормили
Сибири родныя поля,
И мы беззавѣтно любили
Тебя, страна снѣга и льда.

Теперь же грозный час борьбы настал,
Коварный враг на нас напал,
И каждому, кто Руси—сын
На бой с врагом лишь путь один.

Мы жили мечтою счастливой,
Глубоко Тебя полюбив,
Благія у нас всѣ порывы,
Но кровью Тебя обагрим.

Сибири поля опустѣли,
Добровольцы готовы в поход.
За край родимый, к завѣтной цѣли,
Пусть каждый с вѣрою идет.

Мы знаем, то время настанет,
Блеснут из за тучи лучи
И радостный день засіяет
И вложим мы в ножны мечи.

Подумать только,—сколько из этой молодежи погибли, прежде, чѣм мечи были вложены в ножны. Да и вложены ли они по сію пору? Недаром молодая, уже харбинская, поэтесса недавно напечатала в сборникѣ своих стихов:

От себялюбія унылаго
Веди нас Божія рука—
Путем Кутепова, Корнилова
И адмирала Колчака.

А тѣ, кто оказались в эмиграціи, как горек был для них, поэтов, не приспособленных к жизни, хлѣб изгнанія: никогда не забыть мнѣ слѣдующих строчек Леонида Ещина:

Какими словами скажу
Какою строкою повѣдаю,
Что от стужи опять дрожу
И опять семь дней не обѣдаю.
Матерь Божія! Мнѣ—тридцать два...
Двадцать лѣт перехожим каликою
Я живу лишь едва-едва,
Не живу, а жизнь свою мыкаю.
И, занывши от старых ран,
Я молю у Тебя, пред иконами:
—Даруй фанзу, курму и чифан
В той странѣ, что хранима драконами.

Какой Фирдуси, какой Верлэн сравнятся с нѣжностью и трепетом этих строф отчаянія молодого, недавно умершаго и уже почти всѣми забытаго поэта. В трагедіи Россіи поэты испили до дна

чашу испытаній: не помню цѣликом, но никогда не забуду первых строф чудеснаго стихотворенія Георгія Маслова, написаннаго в тот же роковой 1919 год.

Как я могу вас успокоить,
Я сам бездомный и усталый,
Я лишь цѣлую ваши пальцы,
Смотрю в печальные глаза.
Досталось нам так много горя,
Что стали мы дѣтьми большими
Смѣемся, плачем вперемежку,
Себя находим лишь в винѣ.

ПОСЛѢДНЕЕ ПРОСТИ

Я уѣхал из Омска 25 іюля 1919 года, за четыре мѣсяца до трагедіи его оставленія сначала правительстом, а потом и отступавшими, под натиском красных, частями арміи адмирала Колчака.

Отъѣзду моему предшествовали слѣдующія обстоятелства. Не порывая связей с сибирскими кругами, хотя в областниках я никогда не состоял, дружа с проф. Н. Я. Новомбергским, почитая Г. Н. Потанина, будучи близок к людям, которые группировались вокруг руководящей томской газеты «Сибирская Жизнь», я не мог в кадетских сферах, забиравших власть, не имѣть одіума, которым этот пришлый Омску россійскій элемент окружал тѣх, кого в Омскѣ нѣсколько свысока называли «сибирскими корнями».

Выше уже отмѣчалось, что Русское Бюро Печати, которое было акціонировано и сдѣлано независимым центром правительственной информаціи, находилось во власти активных кадет. Среди своих

коллег по совѣту директоров я начинал чувствовать себя все болѣе не по себѣ. Подсиживанія в открытую еще не было, но холодок наростал.

Тут как раз происходит ряд встрѣч моих с людьми, прибывшими из Америки. Они настаивают, чтобы пропогандѣ в Соединенных Штатах было удѣлено наибольшее вниманіе.

У меня рождается мысль отправиться в Нью-Іорк и, своим отъѣздом, разрѣшить ситуацію внутри Бюро Печати, гдѣ Н. В. Устрялов начинал все больше интересоваться моим отдѣлом и ему уже поручено было свыше составлять от имени иностраннаго отдѣла руководящія коммуникэ для отправки их в Париж, Лондон и другіе пункты.

На одном из утренних, ежедневных докладов я заговорил о своей командировкѣ с И. И. Сукиным. Министр иностранных дѣл отвѣтил мнѣ не по существу вопроса:

—Вы хотите ѣхать? Это странно. На вашем мѣстѣ я бы никуда отсюда не уѣзжал. Вы только подумайте, когда мы придем в Москву, какая перед вами будет карьера, вы можете претендовать на прикомандированіе к любому нашему посольству, хотя бы в том же Вашингтонѣ.

Прошло нѣкоторое время и случай помог мнѣ поднять тот же вопрос с предсѣдателем совѣта министров П. В. Вологодским. Я ему докладывал о пріѣздѣ из Америки делегата еврейских организацій, кажется Розенберга, который был послан в Омск выяснить на мѣстѣ правда ли власти поддерживают анти-еврейскія настроенія.

Этот самоувѣренный посланец, державшійся достаточно надмѣнно, указал на ряд собранных им

фактов, гласивших, например, что когда из дѣйствующей арміи дѣлаются в Омск представленія о награжденіи офицеров-евреев знаками отличія, Ставка и военное министерство этим представленіям не дает ходу:

—Вот вам примѣр,—говорил мнѣ этот делегат, —штабс-капитан Клячкин, представлен к боевой наградѣ самим генералом Пепеляевым, и это представленіе до сих пор не утверждено!

Вологодскій долго бесѣдовал с еврейским делегатом и очень сокрушался над тѣми фактами, которыми перед ним оперировал этот Розенберг или Розенталь.

Послѣ окончанія пріема, я заговорил с Вологодским о необходимости съѣздить в Америку и наладить там информацію, дать интервью в рядѣ крупнѣйших городов, напечатать гдѣ потребуется нужныя статьи, сдѣлать доклады во вліятельных объединеніях.

—Мысль хорошая,—отвѣтил Петр Васильевич, —но нужны большія деньги на такую поѣздку. А министр финансов все время призывает нас к экономіи. Надо, чтобы ваша докладная записка получила утвержденіе совѣта при Верховном Правителѣ.

Как раз вскорѣ послѣ этого разговора я встрѣтился с М. П. Головачевым, который мнѣ сообщил, что нѣкоторые сибирскіе общественные дѣятели поспѣшили покинуть Омск—кое кто уѣхал тайком, на подводѣ.

Далѣе Мстислав Петрович, во всѣх подробностях, живописал мнѣ, как делегація сибирских общественных дѣятелей, в которой участвовал и проф.

Новомбергскій, получила аудіенцію у адмирала Колчака:

—Гинс был очень против этой встрѣчи, он даже пытался не допустить ее.

Хотя я не смотрѣл на вещи столь мрачно, как проф. Головачев и не ждал расправы в открытую с лидерами сибирской общественности, каковой и не случилось, но этот разговор заставил меня ускорить выясненіе вопроса о продолженіи моего пребыванія в Омскѣ.

Мнѣ был устроен пріем у адмирала Колчака.

—Только на пять минут. Верховный очень занят,—сказал ген. Марьянов.

Я волновался страшно. Рука Адмирала при рукопожатіи была сухой и горячей. Он явно был озабочен и настроен нервно: я быстро доложил, что пологал бы необходимым присоединить свое скромное мнѣніе к тѣм, кто настаивает, чтобы загодя осуществить, до зимы перезод правительственных учрежденій в Иркутск и что, прежде чѣм начать эту эвакуацію, необходимо подготовить к ней общественное мнѣніе Соединенных Штатов. Адмирал отвѣтил категорически и безапеляціонно:

—Россійское правительство зачалось в Омскѣ и в Омскѣ, если суждено, оно погибнет.

На слѣдующій день я отправился к ген. штаба полк. Клерже и просил его устроить мнѣ билет в экспрессѣ на Владивосток. Георгій Іосифович очень обязательно распорядился отвести мнѣ мѣсто в фель-егерском купэ.

Я побывал у М. С. Лембича, получил от него корреспондентскій билет и аванс, провожали меня на вокзалѣ директор телеграфнаго агенства С. Б.

Сверженскій и мой помощник по иностранному отдѣлу. Путешествіе не сопровождалось ничѣм особенно интересным. На станціи Карымская я имѣл случай бесѣдовать с атаманом Дутовым, который возвращался с Дальняго Востока: он был маленькаго роста и очень коренастый. Имя имѣл всероссійское и к Омску был ближе других атаманов, хотя и он оставлял за собою свободу дѣйствій.

В Харбинѣ я задержался на нѣсколько дней и жил в домѣ редактора «Вѣстника Маньчжуріи» И. А. Доброловскаго.

В этот самый момент в Харбин прибыл вновь назначенный из Омска дальне-восточный генерал-губернатор ген. С. Н. Розанов. Провожали Розанова из Омска, как в свое время провожали на войну Куропаткина, молебнами, поднесли ему иконы. Особенно старалась загадочная графиня Ланская.

В Харбинѣ Розанов рѣшил расправится круто с желѣзнодорожными рабочими за то, что тѣ устроили забастовку. Он пожелал обсудить со мной обстановку.

Мы сидѣли в его купэ, в его спеціальном поѣздѣ, около котораго на перронѣ группировались пришедшіе просить пріема лидеры правых харбинских кругов.

Розанов был в одной рубашкѣ, разстегнутой на волосатой груди. Лицо его было красным:

—Так по вашему, —говорил он мнѣ,— нельзя выпороть по мѣстным условіям здѣшняго прокурора? А жаль, я бы начал с него ..

У дверей купэ стоял адъютант ген. Розанова кап. Крашенинников.

Не успѣл я выйти из поѣзда Розанова, как ко

мнѣ подошел высокій и тогда еще худой, не то поручик, не то капитан, Молотковскій, состоявшій при ген. Гайда и сказал таинственным шопотом:

—Генерал очень хотѣл бы вас видѣть и с вами переговорить, у него в поѣздѣ.

—Это мнѣ не удобно,—отвѣтил я,—генерал настроен против Омска, а я служу правительству адмирала Колчака.

Но Молотковскій настаивал. Любопытство журналиста превозмогло осторожность.

Генерал Гайда сидѣл в своем салонѣ, который был украшен шкурами, на подобіе охотничьяго кабинета. Он был высок, от низкаго потолка салона, казался еще выше, он был худ, с тяжелым, хотя и оригинальным, лицом. Он был во френчѣ, с двумя бѣлыми Георгіевскими крестами— третьей степени за побѣды на берегах Камы и четвертой степени за побѣды перваго сибирскаго похода лѣтом 1918 года. Гайда говорил с замѣтным чешским акцентом и жаловался мнѣ часа полтора на омскія к нему несправедливости. Впослѣдствіи он пытался устроить бунт против омской власти во Владивостокѣ; ему помогали эс-эры.

В Харбин пришла ко мнѣ телеграмма, подписанная временно исполнявшим обязанность премьев-министра Михайловым, такого содержанія:

«Ваша отставка совѣтом министров принята».

Я направился в Хабаровск, но переживанія и испытанія этого періода к Омску, как державному центру, отношенія не имѣют.

КОЛЧАК, КАК ЧЕЛОВѢК

Г. К. Гинс, со слов В. Н. Пепеляева, увѣряет,

что адмирал Колчак ничего не знал о переворотѣ, который привел к его диктатурѣ. У заговорщиков по сверженію Директоріи совѣщанія происходили в вагонѣ, на вѣткѣ омскаго вокзала.

Было рѣшено предварительно «показать адмирала Колчака на фронтѣ» и ему там заранѣе была подготовлена встрѣча. Адмиралу внушили мысль поѣхать на фронт и показаться. В этой части план оказался выполненным, как хотѣли заговорщики, в том числѣ и член Государственной Думы Пепеляев, впослѣдствіи министр внутренних дѣл и, в послѣднія недѣли омской власти, предсѣдатель совѣта министров, разстрѣлянный вмѣстѣ с Адмиралом.

Разсчет заговорщиков, желавших провести к власти Колчака, сводился к тому, что Адмирал, под вліяніем того, что он увидѣл и услышал на фронтѣ и под впечатлѣніем теплой встрѣчи, оказанной ему арміей—не уклониться принять на себя власть диктатора, когда ему ее предложат.

Как это не похоже на путь, которым, впослѣдствіи, пришли к власти Муссолини, Гитлер, Мустафа Кемаль, Пилсудскій, Сталин и другіе диктаторы нашего времени. И как не похожа диктатура их на диктатуру Колчака, которая должна быть названа трагической.

Когда, в ночь на 18 ноября 1918 года, были арестованы Авксентьев, Зензинов, Аргунов и Роговскій и смущенный совѣт министров собрался на экстренное засѣданіе, то и на это засѣданіе, по увѣренію Гинса, Колчак пришел не зная еще точно о своей судьбѣ. Может быть догадывался, но не знал точно.

Только что вернувшись с фронта, он был полон впечатлѣніями от этой поѣздки и до засѣданія, на котором был избран диктатором, разсказывал коллегам по правительству о теплой встрѣчѣ, ему оказанной и живописал условія, в которых приходится существовать на фронтѣ солдатам.

Только тогда, когда министрам стало ясно, что в создавшихся условіях единственным рѣшеніем может быть объявленіе диктатуры—«взоры всѣх обратились на адмирала Колчака». На прямой вопрос Вологодскаго—кто будет диктатором, начальник штаба Верховнаго Главнокомандующаго Розанов назвал генерала Болдырева. Другіе назвали имя адмирала Колчака.

Гинс спрашивает: «но знал ли кто-нибудь близко адмирала Колчака?» и отвѣчает «в совѣтѣ министров—никто».

С Дальняго Востока в Омск были привезены кое-какія свѣдѣнія о неуравновѣшенности его характера, но здѣсь, в Омскѣ, его видѣли всегда сосредоточенным и спокойным. Колчак не отказался баллотироваться. За него были поданы всѣ голоса, кромѣ одного. Один был подан за Болдырева. Всѣ министры, ставленники Директоріи, оказались сторонниками единовластія.

Гинс далѣе описывает: «Адмирал принял избраніе, но он еще не отдавал себѣ яснаго отчета, как широка будет его власть. Это обнаружилось при установленіи титула. Он был смущен предложенным званіем «Верховнаго Правителя», ему казалось достаточным званіе Верховнаго Главнокомандующаго, с полномочіями в области охраны внутренняго порядка.

Засѣданіе, на котором Колчак, по словам перваго воззванія к населенію, «принял крест власти» было настолько нервно-напряженным, что предсѣдатель Вологодскій, в отвѣт на просьбы остаться у власти,—расплакался в засѣданіи. Он был и членом только что погибшей Директоріи. Так, в слезах, он и передал бремя верховной власти Колчаку, который за это бремя заплатил своей кровью, на разсвѣтѣ 7 февраля 1920 года.

Постановленіе правительства гласило:

«Вслѣдствіе чрезвычайных событій, прервавших дѣятельность Временнаго Всероссійскаго Правительства, Совѣт министров, с согласія наличных членов Временнаго Всероссійскаго Правительства, постановил принять на себя полноту верховной государственной власти».

«Постановленіе Совѣта министров от 18 ноября 1918 г. В виду тяжелаго положенія государства и необходимости сосредоточить всю полноту верховной власти в однѣх руках, Совѣт министров постановил передать, временно, осуществленіе верховной государственной власти адмиралу Колчаку, присвоив ему наименованіе Верховнаго Правителя».

С этим наименованіем адмирал Колчак и перешел в исторію. Никто из дѣятелей омскаго періода не вошел в исторію, вошел только адмирал Колчак и имя его стало на вѣки синонимом бѣлой борьбы.

Близкій к Адмиралу в эпоху Омска, бытописатель этой эпохи, проф. Гинс старается дать такой образ покойнаго Верховнаго Правителя, набросанный им в результатѣ длительных наблюденій и близких впечатлѣній от поѣздки с Адмиралом в

Тобольск, на пароходѣ «Товарпар» осенью 1919 года.

«За эту поѣздку я впервые получил возможность ближе узнать адмирала. Что это за человѣк, которому выпала такая исключительная роль? Он добр и в то же время суров; отзывчив—и в то же время стѣсняется человѣческих чувств, скрывает мягкость души напускною суровостью. Он проявляет нетерпѣливость, упрямство, выходит из себя, грозит—и потом остывает, дѣлается уступчивым, разводит безнадежно руками. Он рвется к народу, к солдатам, а когда видит их, не знает, что им сказать.

«Десять дней мы провели на одном пароходѣ, в близком сосѣдствѣ по каютам и за общим столом кают-кампаніи. Я видѣл, с каким удовольствіем уходил адмирал к себѣ в каюту, читать книги, и я понял, что он, прежде всего, моряк по привычкам. Вождь арміи и вождь флота—люди совершенно различные. Бонапарт не может появиться среди моряков.

Корабль воспитывает привычку к комфорту и уединеніе каюты. В каютѣ рождаются мысли, составляются планы, вынашиваются рѣшенія, обогащаются знанія. Адмирал командует флотом из каюты, не чувствуя людей, играя кораблями.

Теперь адмирал стал командующим на сушѣ. Арміи, как корабли, должны были заходить с флангов, поворачиваться, стоять на мѣстѣ, и адмирал искренне удивлялся, когда такой корабль, как казачій корпус, вдруг поворачивался не туда, куда нужно, или дольше, чѣм слѣдовало, стоял на мѣстѣ. Он чувствовал себя безпомощным в этих

сухопутных операціях гражданской войны, гдѣ психологія значила больше, чѣм что-либо другое. Оттого, когда он видѣл генерала, он сейчас же хватался за него, как за якорь спасенія. Каждый генерал, кто бы он ни был, казался ему авторитетом. Никакой министр не мог представлятся ему выше по значенію, чѣм генерал.

«И когда адмирал, объясняя нам тобольскую операцію, удивлялся, почему она не удалась и покорно слушал доклад генерала Рѣдько, удалившаго героя Воткинскаго завода, полк. Юрьева, за то, что он без разрѣшенія побѣдил—я понял, что Верховнаго Главнокомандующаго нѣт.

«Что же читал адмирал? Он взял с собою много книг. Я замѣтил среди них «Историческій Вѣстник». Он читал его, повидимому, с увлеченіем. Но особенно занимали его в эту поѣздку «Протоколы сіонских муднецов». Ими он прямо зачитывался. Нѣсколько раз но возвращался к ним в общих бесѣдах, и голова его была полна антимасонских настроеній. Он уже готов был видѣть масонов и среди окружающих, и в Директоріи, и среди членов иностранных миссій.

«Еще одна черта обнаружилась в этой непосредственности воспріятія новой книжки. Адмирал был политически наивным человѣком. Он не понимал сложности политическаго устройства, роли политических партій, игры честолюбій, как факторов государственной жизни,—пишет проф. Гинс, который конечно на многое измѣнил бы свой взгляд и по иному изложил бы характеристику адмирала Колчака, если бы опубликовал свою работу о нем не в 1920, а в 1935 году, послѣ прихода к власти

Гитлера в Германіи и послѣ того, как геній Муссолини доказал, что для вождя государства вовсе не надо прежде всего и всего больше «понимать сложности политическаго устройства, роль политических партій и игру честолюбій».

Гинс пишет: «Ему было совершенно недоступно и чуждо соотношеніе отдѣльных органов управленія, и потому он вносил в их дѣятельность сумбур и путаницу, поручая одно и то же дѣло то одному, то другому. Достаточно сказать, что переписка с Деникиным по политическим вопросам велась сразу в трех учрежденіях: ставкѣ, министерствѣ иностранных дѣл и в управленіи дѣлами. Увы!—вовклицал через год послѣ описываемых событій Гинс,—приходится сказать, что не было у нас и Верховнаго Правителя. Адмирал был, по своему положенію головою государственной власти. В ней все объединялось, все сходилось, но оттуда не шло по всѣм направленіям единой руководящей воли. Голова воспринимала, соглашалась, или отрицала, иногда диктовала свое, но никогда она не жила одною общей жизнью со всѣм организмом, не служила ея единым мозгом.

«Но, если адмирал был неудачным полководцем и политиком, то зато, как обладатель морских и технических знаній, он был выдающимся. В своей спеціальной области он обнаруживал рѣдкое богатство эрудиціи. Он весь преображался, когда рѣчь заходила о знакомых ему вопросах, и говорил много и увлекательно. Как собесѣдник, он был обаятелен. Много юмора, наблюдательности, огромный и разнообразный запас впечатлѣній все сверкало, искрилось в его рѣчи в эти минуты задушевной и

простой бесѣды. И в это время чувствовалось, что этот человѣк мог оправдать надежды, что не напрасно он поднялся на такую высоту.

«Будь жизнь нѣсколько спокойнѣе, будь его сотрудники болѣе подготовленными — он вник бы в сущность управленія, понял бы жизнь государственнаго механизма, как он понимал механизмы завода и корабля, единство всѣх частей, их взаимное соотношеніе, их стройность.

«Но в такое время, когда всѣ были неподготовлены, когда никто даже из лучших профессіональных политиков не сумѣл найти методов успокоенія революціонной стихіи—как мог справится с нею тот, кто всю жизнь учился быть хозяином не на сушѣ и в огнѣ битвы, а лишь на морѣ и в царствѣ льдов, кто провел большую часть жизни не на широком общественном просторѣ, а в тѣсной и уединенной каютѣ.

«Адмирал в кругу близких людей был удивительно прост, обходителен и мил. Но, когда он одѣвался, чтобы выйти оффиціально, он сразу становился другим: замкнутым, сухим, суровым. Не показывает ли это, что роль Верховнаго Правителя была навязана ему искуственно, что изображал он эту роль дѣланно, неестественно. Весь этикет, который создавали вокруг него свита и цереноніймейстеры, был не по душѣ человѣку, который привык к солдатской рубахѣ и парѣ офицерских ботфорт.

«Рѣдкій по искренности патріот, прямой, честный, не умѣвшій слукавить, умный, по натурѣ чуткій, темпераментный, но человѣк корабельной каюты, не привыкшій управлять живыми сущест-

вами, наивный в соціальных и политических вопросах—вот каким представлялся мнѣ адмирал Колчак послѣ нашей поѣздки в Тобольск. Я одновременно полюбил его и потерял в него вѣру. Какую отвѣтственность взяли на себя люди,—восклицает Г. К. Гинс, в концѣ этой главы,—которые в ночь на 18 ноября 1918 года рѣшили выдвинуть адмирала на мѣсто Директоріи».

Эта характеристика не безспорна, ей многое можно было бы возразить, особенно теперь, в свѣтѣ новых фактов, ставших всѣм извѣстными. Но она дана человѣком, который во все время пребыванія адмирала Колчака у власти работал вмѣстѣ с ним, часто с ним встрѣчался, пользовался его довѣріем и потом посвятил два едва ли не самых обстоятельных тома описанію эпопеи адмирала Колчака в Сибири. Во всяком случаѣ историк не может пройти мимо свидѣтельства, даннаго проф. Гинсом, которое мы выше привели столь полно.

* * *

А вот, другая характеристика адмирала Колчака, как человѣка, данная Н. В. Устряловым и напечатанная в «Вѣстникѣ Маньчжуріи» от 7 марта 1920 года, человѣком, который, когда писал эту характеристику, произвел переоцѣнку политических цѣнностей, рѣшил признаться в полном своем разочарованіи в бѣлой борьбѣ, рѣшил перейти в стан врагов, сначала идеологически, выдвинув лозунг «смѣны вѣх» и возглавив это движеніе, а, потом и практически, поступив на службу к совѣтскому правительству, с которым страстно боролся под эгидой адмирала Колчака.

Маленькій харбинскій собор. Тѣсно, молящихся много. Кругом знакомыя омскія лица, — случайные листья облетѣвшаго, осыпавшагося дерева... Торжественные напѣвы панихиды. Ладон,свѣчи...

— Об упокоеніи души раба Божія новопреставленнаго воина Александра...

Эпилог. Грустное завершеніе цѣлаго періода исторіи русской революціи, какая-то новая грань, какой-то новый предѣл...

Душа полна вспоминаніями, впечатлѣніями такого еще недавняго и такого уже далекаго прошлаго:—весна, лѣто, осень ..

18 апрѣля прошлаго года. Страстная недѣля, великая пятница. Омскій большой собор, торжественная служба в присутствіи Верховнаго Правителя. В первый раз вижу его близко, близко. Недавно еще пріѣхал из освобожденной Перми, полный надежды и вѣры в національное воскресеніе, и так естественно, что хочется ближе, лучше всмотрѣться в него, человѣка, как бы воплощающаго собою эту вѣру...

«Интересныя черты — записываю впечатлѣнія у себя в дневникѣ. — Худой, сухой какой-то, быстрые, черные глаза, черныя брови, облик энергичный, рѣзкій, выразительный.

Если вдаться в фантазію, можно пожалуй, сказать, что чувствуется на этом лицѣ нѣкая печать рока, обреченности».

Да, да — именно что-то роковое было в его фигурѣ, во всем стилѣ его облика.Это чувствовалось даже и тогда, когда его арміи подходили к Самарѣ и Казани, его министры готовились к управленію во всероссійскоммасштабѣ, «демократія»

величала его «русским Вашингтоном», а генерал Жанен почтительно приносил ему поздравленія и привѣты от вѣрных союзников. .

Другой момент, слѣдующій этап.

20 іюля прошлаго года. Геній побѣды отлетѣл от нас, мы отсупаем, отданы Уфа, Пермь, Екатеринбург. . . Вмѣстѣ с делегаціей омскаго «общественнаго блока» ѣжу против адмирала в большой столовой домика у Иртыша. Идет оживленная нѣсколько взволнованная бесѣда на больныя темы дня—о развалѣ на фронтѣ и в тылѣ, о пороках управленія, о безобразіях мѣстных властей об изъянах снабженія армій, наконец, о союзниках. .

Адмирал волнуется, говорит быстро, жестикулирует. Затрагивается модный тогда вопрос о Японіи, отмѣчает наивность тѣх, кто думает, что стоит лишь ее «попросить», и она немедленно пришлет дивизіи. Говорит о союзниках вообще:

— Мое мнѣніе, — они не заинтересованы в созданіи сильной Россіи Она им не нужна.

И татчас добавляет:

— Повторяю, таково мое мнѣніе. Но вѣдь приходиться руководствоваться не чувствами, а интересом государства. Разумѣется, политика в смыслѣ попыток привлеченія помощи союзников будет продолжаться.

Подробно останавливается на вопросѣ об администраціи.

— Скажу вам откровенно, я прямо поражаюсь отсутствіем у нас порядочных людей. Тоже самое у Деникина — я недавно получил от него письмо... Тоже и у большевиков. Это — общее явленіе русское; нѣт людей. Худшіе враги правительства—его

собственные агенты. У большевиков на это есть чрезвычайка. Но не можем же мы им подражать — мы идем под флагом закона, права... Я фактически могу разстрѣлять виновнаго агента власти, но я отдаю его под суд и дѣло затягивается. Пусть общество поможет. Дайте, дайте мнѣ людей!...

Бесѣдовали долго, и общій стиль его характера, его интеллектуальнаго и моральнаго облика отчетливо запечатлѣвался в душѣ. Пусть это лишь «первое впечатлѣніе», но часто, вѣдь именно оно наиболѣе цѣпко и ярко схватывает главное, основное...

Вечером того же дня я записал у себя в дневникѣ:

«Диктатор... Всматривался в него, вслушивался в каждое слово, — вѣдь «живая исторія»... Трезвый, нервный ум, чуткій, усложненный. Благородство, величайшая простота, отсуствіе всякой позы, фразы, аффектированности искусственной или показной. Думается, нѣт в нем тѣх отрицательных для человѣка обыкновеннаго, но простительных и даже нужных для «диктатора» свойств, которыми был богат Наполеон. Видимо лозунг «цѣль оправдывает средства» ему слишком чужд, органически не пріемлем, хотя умом, быть - может он и сознает все его значеніе. В этом отношеніи другой герой нашего времени, вождь красной Россіи Ленин — является ему живым и разительным контрастом.

Он говорит о своем безсиліи, он излагает свои сомнѣнія, колеблется, словно обращается за совѣтами. Что это? Излишняя искренность «абсолютно

честнаго» человѣка? Недостаточная напряженность воли?... Ни того, ни другого сво"ства не было у Наполеона, нѣт у Ленина. Дай Бог, чтобы оба эти свойства не помѣшали их обладателю стать «историческим человѣком». Можег быть я ошибаюсь, но не скрою, — не историческим величіем, а лишь дыханіем исключительной нравственной чистоты вѣяло от слов Верховнаго Правителя и всей его личности. Конечно, трудно судить современникам. Исторических людей создают не только их собственные херактеры, но и окружающія обстоятельства. Но боюсь — слишком «честен», слишком «хрупок», слишком «русскій интеллигент» адмирал Колчак для «героя исторіи»...

И, помнится, всплывало в памяти суровое изрѣченіе Макіавелли: — „Государь, сохраняющій свою власть, должен умѣть не быть д обродѣтельным".

Затѣм осенью, когда уже грозныя, катастрофическія формы принимала опастность, довелось мнѣ слышать искренія, как всегда, взволнованныя слова адмирала, говорившаго бѣженцам, организующим дружины св. креста:

— Войска бѣгут, войска на хотят сражаться, я объявляю призывы, они не удаютс̆я, — само населеніе виновато в наших наудачах. Большевики побѣждают не потому, что они сильны, а потому что мы слаб'ᵗ ..

Он обличал, он возмущался, он дышал нравственным негодованіем—и опять в нем виден был не «диктатор», а измученный, усталый человѣк, «раб Божій воин Александр», страдающій в жгучей патріотической тревогѣ и страданіе свое вы-

ставляющій на «всенародныя очи»...

И наружность его становилась еще выразительнѣе, аскетичнѣе, печать рока горѣла на ней все ярче и ярче. Он искал выхода и не находил его, лихорадочно метался от Омска к фронту, мечтая на фронтѣ обрѣсти спокойствіе и увѣренность в успѣх, — но словно иронiей злой судьбы его посѣщенія и смотры, казалось, лишь приносили несчастія..

В послѣдніе дни перед паденіем Омска он выбросил героическій лозунг «защита столицы во что бы ни стало», смѣнил главнокомандующаго.. Увы, — это лишь ухудшило положеніе.

А потом — какая то сплошная голгофа... Этот кошмарный поѣзд «Буки»затерянный на великом сибирском пути, это утонченное издѣвательство иностранцев, пожар повсѣмѣстных возстаній, одиночество.. Приговор исторіи на берегах Ангары, паденіе Иркутска, — грустная страница дописана.

«Трагическая личность», «роковой человѣк» — это опредѣленіе так часто приходилось слышать от лиц, окружавших и близко знавших его..

И конец его, по истинѣ, овѣян каким-то исключительным, мрачным сложным трагизмом, перед которым блѣднѣют даже драматическія очертанія послѣдних минут других героев несчастной русской Вандеи — Каледина, Корнилова..

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ?

Снова и снова возникают разговоры о причинах Омской катастрофы.

В Ново-Николаевскѣ, нынѣшній Ново-Сибирск, послѣ оставленія Омска, дѣлается судорожная по-

пытка переключить бѣлую борьбу на новыя рельсы. Адмиралу в вагон доставляется запоздалый проэкт классовой борьбѣ большевиков противопоставить классовую борьбу справа на территоріи Сибири, смысл и содержаніе которой был бы в том, чтобы осуществить на практикѣ древній лозунг «бей врага его оружіем».

Там вооружали голытьбу против имущаго класса, здѣсь говорили на совѣщаніи надо срочно вооружить имущих против голытьбы. Надо тотчас развить бѣшеную агитацію за то, чтобы купечество, кооператоры, зажиточное крестьянство давали и деньги и добровольцев на ополченіе. По мысли этих, лихорадочно составленных докладов, надо было освободить части от пролетарскаго элемента —винтовка только буржую или сыну деревенскаго кулака. Там пропаганда безбожія, здѣсь будем создавать дружины Св. Креста и мусульманскаго Полумѣсяца. Словом, все наоборот тому, что там дѣлается Совпаденіе методов допускалось только по двум линіям: такой же террор, как и там против классоваго врага, против всѣх инакомыслящих, всѣх подозрительных и неблагонадежных и такая же агитація и пропоганда.

Кое что из этих лихорадочных мыслей и конвульсивных предложеній могло бы и пригодиться, если бы вводилось исподволь с середины 1918 года, когда полным пламенем разгорался пафос борьбы многих против, для многих ненавистной тогда, совѣтской власти. Но этот момент был безвозвратно упущен. Больше того, сознательно или безсознательно дѣлалось все, чтобы снизить, сбить пафос бѣлой борьбы, направить ее по ложному

слѣду. Теперь понимали, что может быть и не стоило возвращать в разгар гражданской войны офицерам погоны, принадлежность арміи цѣлаго государства, Россіи, имперіи, которых в этот період как бы не было, временно не существовало. Погоны были не только удобной мишенью для совѣтской пропоганды («золотопогонники»), но, что гораздо важнѣе, вмѣстѣ с ними автоматически был возстановлен и весь уклад военно-бюрократической машины, который тяжелым грузом лег на плечи молодой сибирской арміи, возникшей из добровольческих отрядов, бывшей по существу добровольческой, о не регулярной не государственной, не имперской арміей былого образца. Между тѣм, всѣ прежніе полковники и почетные генералы, очень нужные и очень полезные в обстановкѣ, в атмосферѣ и условіях государственнаго масштаба, автоматически, вслѣд за возстановленіем погон в бѣлом станѣ включились в состав той арміи, которая была им чужда, а, может быть, в нѣкоторых отношеніях, и враждебна. Вдруг, вновь, пошла мода на «кадровых офицеров» и та молодежь, которая, по ея заслугам, была вознесена на отвѣтственные посты в самый отвѣтственный період наступленія у берегов Камы, остро почувствовала, что ей недовѣряют и ею хотят руководить из омскаго военнаго центра, Ставки, захваченнаго, как выше описано, к веснѣ 1919 года, заслуженными генеральнаго штаба «настоящими генералами». Как бы не объяснять и как бы, при помощи исторических документов не расцѣнивать сущность перемѣн в высшем командованіи омских ратей, в результатѣ которых Гайда должен

был уйти и у власти оказался ген. Дитерихс, не подлежит сомнѣнію, что молодой генералитет во главѣ с подлинным героем гражданской войны в Сибири и на Уралѣ А. Н. Пепеляевым, почувствовал себя уязвленным.

Может точно также было ошибкой отказаться от принципа добровольческаго набора: воинская повинность в обстановкѣ гражданской войны, при наличіи в Сибири неизжитых совѣтофильских настроеній, конечно была рискованным экспериментом. Исторія созданія отрядов атамана Калмыкова, отрядов атамана Семенова, атамана Анненкова, исторія всей вообще арміи Сибирскаго правительства, наконец самый факт, выше только что указанный, что, послѣ оставленія Омска в Ново-Николаевскѣ вновь конвульсивно попытались вернуться к добровольческим формированіям и укрѣпить эти формированія однородностью классового состава,— служат докозательством, что дѣло военнаго министра ген. Н. А. Степанова и его ближайшаго помощника, начальника главнаго штаба ген. I. В. Марковскаго было ошибочным, ненужным и опасным дѣлом. Этот, расцвѣтшій со стихійной быстротой, как принято выражаться —«махровым цвѣтом», бюрократизм военных канцелярій, не избавил Омск даже от тѣх кадров тыловых героев, весьма многочисленных, которые всячески уклонялись итти на фронт.

Весною 1919 года проф. Д. В. Болдырев, тогда еще не начинавшій свое добровольческое движеніе, пришел ко мнѣ и с волненіем разсказал, что в то время когда на всѣх участках фронта фатальная нехватка команднаго состава и, вообще, число

фактических бойцов на огромном по длинѣ фронтѣ против красных может быть уподоблено ниточкѣ, —в Омскѣ находится чуть ли не десять тысяч офицеров. Трудно сказать, была ли эта цифра преувеличенной, но, дѣйствительно, офицеры о Омскѣ не только пожилые, но и молодежь попадалась на каждом шагу. Еще в тѣ времена мы там возмущались, что у каждаго министра непремѣнно имѣется по адъютанту; министр финансов И. А. Михайлов, в началѣ своей карьеры, вообще кажется не разставался с адъютантом, у премьера в секретарях состоял красивый, молодой, здоровый поручик, которому так и хотѣлось сказать: «Почему вы, поручик, не на фронтѣ?»

Офицеров было в Омскѣ много и офицеры в Омскѣ брались за все. В частности, никак не удавалось наладить как слѣдует, с подъемом и энтузіастически, агитацію и пропаганду, потому что этой работѣ прежде всего ставили препоны всюду и вездѣ штабные. Информаціонное бюро занималось пропагандой, ставка Верховнаго работала в этой же области, точно также, как и Осканверх: «особая канцелярія Верховнаго», свой информаціонно-агитаціонный отдѣл был в военном министерствѣ, тѣм же занимались штабы и Сибирской арміи и атамана Анненкова, какую-то важную, по информаціонной части, должность в ставкѣ Верховнаго занимал холеный, раздушенный, всегда с благоуханной сигарой в углу презвительнаго рта ген. Рябиков и ген., тогда полковник ген. штаба Г. І. Клерже, в зданіи Главнаго Штаба, тоже, в свою очередь, давал какую то информацію и чѣм-то вѣдал по части агитаціи как в тылу, так и в при-

фронтовой полосѣ. В этой путаницѣ и неразберихѣ трудно было найти общую линію, добится единства дѣйствій, придать агитаціи и пропогандѣ ударный, а главное, срочный характер. Мы в Бюро Печати боролись как могли с этим вмѣшательством военных, боролись всѣми силами, но встрѣчали со стороны тѣх, с кѣм мы боролись такое же точно наступательное противодѣйствіе нашим начинаніям, не смотря на то, что Верховный Правитель всю работу по информаціи и пропагандѣ сосредоточил к іюню 1919 года монопольно в руках нашего Бюро Печати.

С военными нам, профессіональным журналистам и информаторам, было трудно работать еще и потому, что это, в большинствѣ своем на верхах, были заслуженные генералы и солидные полковники, которые с молоком матери впитали пренебрежительное, если не презрительное отношеніе не только ко всѣм штафиркам, но, прежде всего, ко всѣм, так называемым «писакам». Пользуясь и личными знакомствами, и связями, и даже дружбой в Омскѣ среди военных кругов, даже я все время чувствовал в лучшем случаѣ это ласково-ироническое их отношеніе к той работѣ по информаціи, пропагандѣ, - агитаціи, которую мы вели и с которой военные верхи лишь снисходительно мирились. Между тѣм (мнѣ так в Омскѣ казалось и я точно также думаю и теперь) министерство пропаганды, агитаціи и всяческаго освѣдомленія должно было быть, в обстановкѣ гражданской войны, сдѣлано первым, самым важным, самым отвѣтственным, самым вліятельным министерством. Рядом с военным диктатором должен был быть его бли-

жайшій помощник — диктатор печати.

У большевиков это дѣло было иначе поставлено прежде всего потому, вѣроятно, что и Ленин и Троцкій и всѣ прочіе их заправилы, в большинствѣ, были профессіональными газетчиками и еще потому, что, как не пользовался Троцкій генштабистами, они там тона не задавали.

Помню, в разгар катастрофических неудач на Уралѣ, по личному распоряженію Верховнаго Правителя было собрано экстренное засѣданіе по вопросам информаціи и пропаганды в Ставкѣ, под предсѣдательством ген. Рябикова. Мы собрались всѣ: директора Бюро Печати, редакторы газет и мы всѣ с пол часа безцѣльно ждали пока к нам выйдет генерал Рябиков, принимавшій ванну. На этом засѣданіи, впервые, участвовал, прибывшій с фронта, В. Н. Иванов, создатель и редактор талантливѣйшей фронтовой газеты «Сибирскіе Стрѣлки». Мы его сдѣлали в Бюро Печати одним из вице-директоров. Он был уже без погон, но в защитной гимнастеркѣ и все вставал и тянулся перед генералами. Послѣ засѣданія мы его, на перебой убѣждали перестать тянуться и поставить генералов «в точку» за то, что каждый наш смѣлый, оригинальный, жизненный, яркій проэкт они опротестовывали с точки зрѣнія нарушенія правил, положеній, уставов, циркуляров и т. д. Ни в чем особенном, больше того, ни в чем конкретном нельзя было винить г. г. генералов, говорили они честно то, что думали, также хотѣли побѣды бѣлым над красными, но, в качествѣ «распорядителей судеб», в качествѣ отвѣтственных руководителей они в гражданской войнѣ часто были не на высотѣ

положенія, а, главное, они своим формализмом убивали энтузіазм других, тѣх, кто хотѣл и умѣл ра-ротать. Граждансках война должна была пользовать генштабистов, как спеціалистов военной науки, но ни в коем случаѣ не давать им ходу только потому, что они являются обладателями военнаго диплома, чинов, орденов, значков и всяческих иных знаков отличія, нахватанных в до-революціонную эпоху. Гражданская война должна дѣлатся тѣми элементами, которых она сама выбросила на поверхность. В гражданской войнѣ психологія масс значит больше стратегіи и иногда побѣда на полѣ сраженія обращается в пораженіе для тыла.

Старый генералитет, верхи кадрового офицерства этого не могли, а, иногда, и не хотѣли понимать. Фатальная пропасть между тѣми, кто понял, что такое гражданская война и тѣми, кто не понял, нигдѣ так не сказывалась, как именно в вопросах техники поддержанія духа в арміи и среди различных классов населенія, в тылу.

Кстати, еше о чинах и погонах. Уже лѣт восемь послѣ описываемых событій, в одну из моих встрѣч с атаманом Г. М. Семеновым, не то в 1927 году в Пекинѣ, не то в 1928 году в Дайренѣ, когда мы, на лѣтних досугах, вспоминали прошлое и обмѣнивались мыслями о настоящем, я его спросил, может ли быть объяснено почему и зачѣм в его отрядѣ было так много полковников? Атаман отвѣтил не то в шутку, не то искренне, но очень характерно:

—Я нарочно легко давал производства, чтобы, когда у меня будут всѣ в отрядѣ полковники, всѣ бы поняли, что в гражданскую войну чины и по-

гоны не имѣют того рѣшающаго значенія, какое они имѣют в регулярной арміи, отстаивающей честь и достоинство государства.

По логикѣ вещей—истерическое время, казалось бы, требовало истерических дѣйствій. Бурѣ надо было противопоставить бурю, классовой стихіи, голытьбѣ, возводимой на пьедестал, надо было противопоставить стихію собственническаго класса, красному террору—бѣлый террор. Террор, конечно, был в бѣлом станѣ, но, вот, была ли в нем поднята стихія собственничества, сознаніе купечеством, зажиточными крестьянами, состоятельным мѣщанством, всѣми, кто, потом, жестоко пострадал на совѣтском соціалистическом эксптриментѣ и был в конец деклассирован, было ли сознаніе своего классоваго интереса, не менѣе законнаго, чѣм законен классовый интерес рабочих,—это большой вопрос.

Купечество, во всяком случаѣ, могло бы жертвовать больше и деньгами, которых оно вскорѣ начисто лишилось, и людьми... Строго говоря, в бѣлом станѣ экзамен гражданственности выдержало только рядовое офицерство и, прежде всего, учашаяся молодежь—если кто боролся, умирал за національную Россію, во имя бѣлой мечты, то только они, рядовые наши офицеры, часто служившіе в офицерских ротах рядовыми, и молодежь: студенты, юнкера, кадеты, даже гимназисты и реалисты.

Их, этих безвѣстных героев междоусобія, рыцарей бѣлой идеи, дѣйствительно, упрекнуть не в чем. Им, «неизвѣстному добровольцу», и должна поставить памятник національная Россія.

Конец.